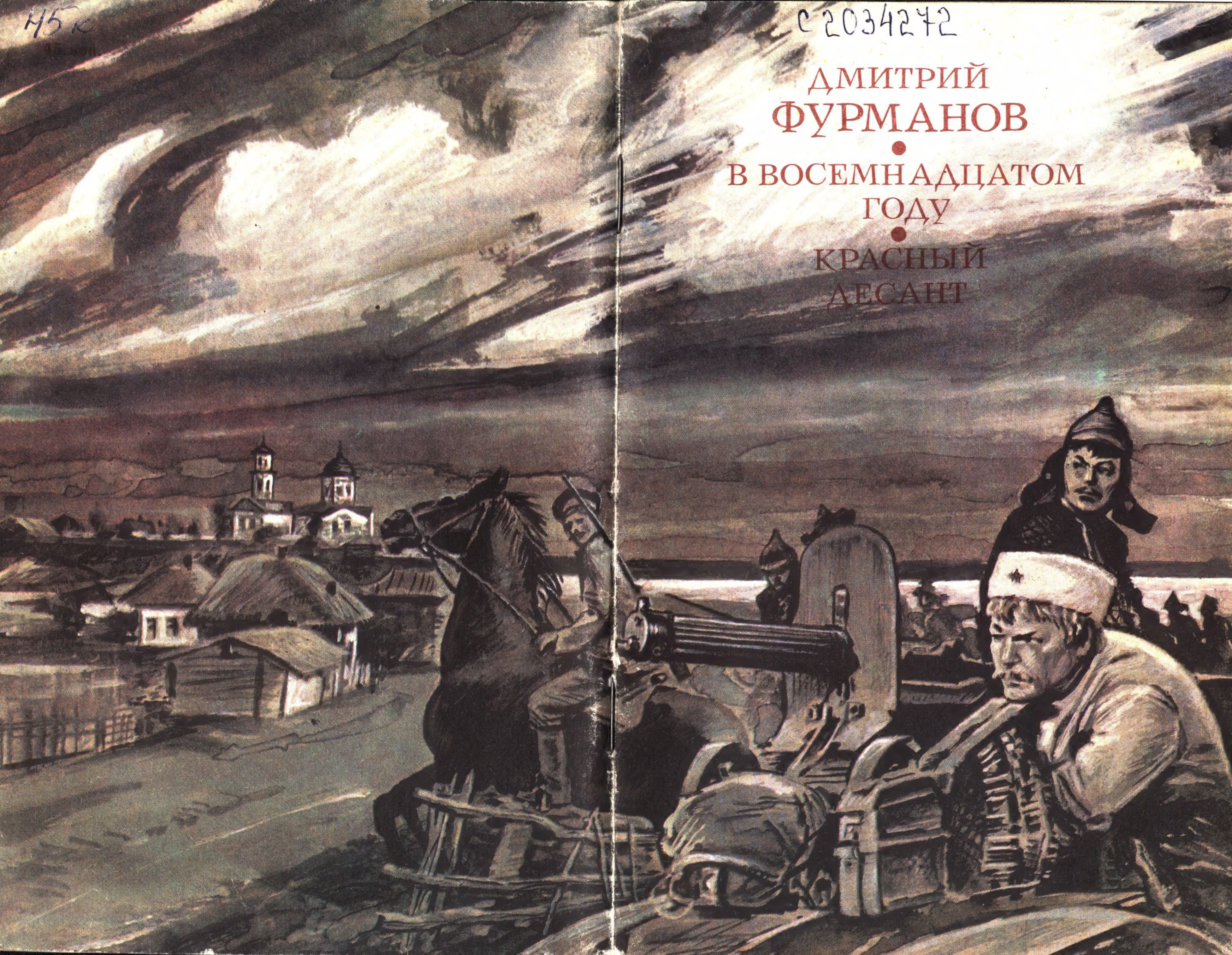


45к
с 2034272
ДМИТРИЙ
ФУРМАНОВ
В ВОСЕМНАДЦАТОМ ГОДУ
КРАСНЫЙ ДЕСАНТ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач.

3 ТМО Т. 2 млн. З. 2657—85

Дмитрий
Фурманов

В восемнадцатом году

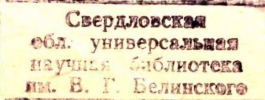
Красный десант

Повести

Москва
«Современник»
1987

Р2
Ф95

Ф $\frac{4702010200-101}{М106(03)-87}$ 157—87





В ВОСЕМНАДЦАТОМ ГОДУ

I. Город

Кубань. Краснодар. Рабочий квартал Дубинки. Серые гнилые заборы, хилые сплюснутые избушки, узкие улицы, переулки затянуты в частую тонкую сеть весенних туманов. В пустом скучающем небе — тошное, тихо-вялое ожидание солнечных дней. Тихо, пусто в улицах. Тихо, пусто в переулках. Жалостным блеском сквозь мутные стекла умирают ночники. От ночников на стеклах — сутулые, вялые, недоспанные тени. Чуть мережит раннее утро — первый тихий шаг долгого дня. Закачалась на колодец с коромыслом на плечах столетняя старуха. Вышел рабочий за ворота, курит сочно и медленно дымную цигарку махры. Пыхнули над крышами белые дымки: хозяйки становились у печей. Пробуждалась Дубинка к трудовому дню.

На заборе торчит коряво-мокрая, насвежо приклеенная листовка:

«*Товарищи!*

Вас уверяют, будто Красная Армия терпит кругом пораженья; будто Советской власти нет ни на Дону, ни на Украине, что скоро падет она и в Москве. Вас уверяют, что кубанцы против большевиков, против Красной Армии, против Советской власти.

Кто кубанцы? Ясное дело, что тузы наши, казаки-толстосумы, заводчики, попы, жандармы,— ясное дело, что все они против власти рабочих и крестьян, против Советской власти. Они знают хорошо, что Советская власть отымет у них награбленное добро, передаст его в руки самим трудящимся, как это сделала она у себя в Центральной России. Потому и не хотят они Советской власти, потому и боятся большевиков, потому дрожат перед грозными полками Красной Армии, что идут сюда от Ростова.

Да, товарищи, от Ростова на выручку в помощь к нам идут красные полки! Они уж близко. Скоро будут здесь. Они несут на штыках своих освобожденье трудовой Кубани, смерть подлецам и насильникам, укрывшимся теперь за спину Кубанской рады.

Будем готовы к бою! Хватайтесь за оружие, товарищи! Точите ножи на палачей. По первому зову подымемся всей трудовой Кубанью в помощь красным полкам. Близок час расплаты с врагом! Близок час освобожденья родного края! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует Советская власть!!!»

Кучки рабочих толклись у заборов, читали.

— Эге, брат, от Тимошевки видно будет, через Минскую — вот она где, главная-то сила, идет...

— Почем знать, може, и не тут...

— А где ин? Тутта она и есть...

Говоривший наклонился, прошептал скороговоркой в приподнятый глухой ворот:

— В Тимошевке одне отряды... Сила по ветке идет, на Энем, с Новороссийска...

— Где с Новороссийска — что льешь?

— Морем свезли, говорят...

— Вот те и морем: солон больно.

— Товарищи рассказывали вчера с Тихорецкой, будто тридцать девятая дивизия вся с красными идет...

— О... о... Дивизия?

— Вся дивизия: пулеметы, артиллерия — честь честью, все как надо... А солдаты зараз: долой, говорят, офицеров — сволочь такая! Все за Советскую власть постоим! И как есть везде Советы солдатские по полкам наладили: сами, говорят, всю дивизию в бой поведем, не надо никаких нам поставленных офицеров...

— А чего глядеть: давно б надо... недаром, чай, тут прописано.

Все обернулись к листовке и стали было читать, как вдруг где-то поблизости раздался резкий сигнальный, пронзительный свист. Рабочие кинулись врассыпную, мчались опрометью прочь, перескакивали с маху через низкие заборы, кидались в переулки, срывались в приотворенные ближние калитки чужих дворов...

В ту же минуту вырвался из-за угла казачий разъезд — он слепо скакал как раз на то место, где только что стояла толпа рабочих. Улица сразу стихла, будто вымерла. Только топот конских копыт да казацкая резкая брань словно плетью секли тишину. Два всадника круто повернули у забора, соскочили с коней и сорвали листовку. Где-то поблизости взвизгнул неистово дикий голос, взвизгнул и смолк. Через дорогу побежала растрепанная бледная женщина — прямо на нее скакал кудластый рыжий казак и, как только настиг, ахнул с размаху тугой плетью по спине. Мгновенье — животный вскрик, и, испуганная насмерть, скрылась она в воротах, а кудластый всадник промчался мимо.

Взад и вперед метались по улицам, переулкам казаки, соскакивали и срывали ночные листовки, запихивали их наскоро за пазухи, летели дальше.

Так на Дубинке читались прокламации.

Главная улица Краснодара — Красная. По Красной все учреждения. На Красной живет вся знать. С Дубинки, Покровки, с окраин не любят заглядывать сюда рабочие: что им делать на Красной? И не понять, для кого развешены эти приказы, расклеены на стенах «по-большевицки» газеты? Кого они уговаривают?

«Последние известия! Последние известия!

РЕШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА НАД БОЛЬШЕВИКАМИ!

На путях к Ростову красные банды, объединенные в дивизию, вздумали напасть на славные Н и Н и Н полки Добровольческой армии — на те самые полки, что известны по всей Кубани своим героизмом, непоколебимой стойкостью. К нашим полкам присоединилось двенадцать добровольческих отрядов, в которые за одну ночь ушло почти поголовно все население ближних станиц... Красные банды были окружены и напрасно пытались спастись из железного кольца — были все уничтожены до последнего человека, прорвалась к своим лишь незначительная горстка. Захвачено в плен немного — большинство побито во время боя. Огромные военные трофеи пошли на укомплектование наших частей... Изо всех концов, где только побывала Красная Армия, несется горький вопль, плач населения: там везде наставили большевики виселиц и терзают беспощадно и расстреливают ни за что мирное население, причем мужчин загоняют силою в свои шайки, а девушек и женщин берут общественными женами, то есть такими женами, которые сразу принадлежат всей шайке. Это у них называется коммуна. Вот чего хотят большевики!

Свободные кубанцы, честные граждане! Задумайтесь над всем этим и помните, что за собою приносит всюду большевицкая Красная Армия!

Кубанская рада, ваш верный страж и защитник, ваш правительственный орган, который избрали вы так единодушно, Рада снова и снова призывает вас, верные сыны Кубани, хранить спокойствие в эти трудные дни, сомкнуться вокруг своего правительства, не поддаваться панике и подлым слухам, которые сеют повсюду наши тайные враги. Четверо таковых вчера были пойманы и ночью же расстреляны.

Граждане кубанцы! Все, кто искренне и честно любит свою страну, свое многострадальное отечество,— все вы будьте в эти ответственные дни на поддержке правительству, боритесь все с темными, вражескими элементами, хватайте всех, сеющих среди вас мятежные слухи, и передавайте их в руки властей!

Да здравствует Добровольческая армия!

Да здравствует Кубанская рада!»

И статьи, и приказы, и речи громовые кубанских властителей — все построено было в этом духе. Начиналось победами, а кончалось мольбами и страхами. Читали и недоумевали даже самые вислоухие, туголобые:

— Как это так,— кругом одни наши победы, успехи, а тут вдруг: «Кубань в опасности», «берегитесь», «будьте на страже»?

— Э... э... тут что-то не так, писать-то, знать, пишут нам, да не все!

По городу бродили, и скакали, и ползли слухи — туманные, путаные, противоречивые: один цеплялся за другой, один за другого прятался, выглядывал из-за него лукаво, а потом ловко и вдруг, вовсе внезапно, кувыркал через себя, взвизгивая, несся дальше, пока не кувыркнет его в свою очередь новый, такой же вздорный, торопливый слух. Так, наскакивая, переплетаясь, прячась, один другому противореча, метались по городу, ускакивали по станицам, по всей Кубани вздорные слухи.

Город нервничал. Тщетно старался он быть и казаться спокойным: нервная дрожь выдавала глубокую внутреннюю тревогу. Он запутался в своих собственных тенетах. Он изолгался, как мелкий последний лгунишка. Ждал откуда-то помощи и не знал: будет ли она и откуда? Метался в лихорадке и верил — не верил, что придет избавленье...

События надвигались грозно, неумолимо. Напрягалась Кубань в ожидании решающих дней. Вот он — уж слышен чуткому слуху тяжелый топот красных батальонов!

С севера, через свободный Дон, по станицам, от моря, по веткам железной дороги, со всех концов идут, сжимают, близятся они, эти сонмища неведомых людей, распаляя всюду костры восстания, подымая за собою новые, все новые и новые толпы людские... Это идет к Кубани новая жизнь — она раздавит железною пятой вот этот самый оробевший, перепуганный, лихорадочный мирок. Она верной рукой возведет свои леса и будет строить на них иное, доселе не виданное.

Сердце кубанское — Краснодар — острая тревога колотила в лихорадке.

На Штабной, недалеко от центра города, жила семья Кудрявцевых — мелкая чиновничья семья. Старик отец лет пятнадцать назад приехал сюда откуда-то из глуши Тамбовской губернии, приехал сначала один в поисках «удовлетворительных мест», как он выражался, а потом, устроившись, перетащил свою семью: Анну Евлампьевну — свою «старуху», Павлушу и Надю — двоих ребятишек, тогда

еще совсем малышей: Наде было четыре, Павлуше — девять лет. Теперь Надя училась в последнем классе гимназии, выросла выше отца — худая, тонкая, русоголовая, с серыми умными глазами, тихой речью. Павел же, питерский студент, двадцатитрехлетний «дядя», был тучен, обрюзг не по годам, полысел, прочернел, развинтился вконец. Учение впрок ему не шло. В Питере он шатался больше по пивнушкам и бильярдным, пропивал и проигрывал все, что зарабатывал случайными уроками или получал от отца... Знакомые о нем обычно отзывались одним только словом «никудышный». Так его и звали никудышным, серьезно с ним нигде не считались, уважать не уважали, но и зла против него не имели. Павел был, что называется, «мешок с соломой»: прост, незлобив, добродушен и глуповат не по возрасту.

Сам старик, Петр Ильич, вот уже десять лет как сидит в канцелярии женской гимназии — целый день в густом табачном дыму, в грохоте и звоне молодых девичьих голосов. Сидит, как сыч, угрюмо и насупленно, за своим широким клеенчатым столом, обложенный ворохами книг и бумаг, дает разные справки, записывает разные дела, помаленьку и втихомолку, склоняя лысину и глядя поверх очков, сплетничает с соседями-сослуживцами... А приходя домой, снимает черный, со светлыми пуговицами служебный сюртук, облекается в какой-то неопределенного цвета лапсердак, разваливается с газетой в кресле и через каждые три минуты приговаривает, разводя руками:

— Это невозможно, это невозможно!..

— Чего там? — спросит недоуменно Анна Евлампьевна.

— Да что,— махнет рукой старик,— говорил я, что прах один...

И начинает он своей старухе пояснять что-то совершенно отвлеченное, чего та и не понимает, да и не слушает, уходя от разговоров то и дело на кухню... Воротится, а он опять, пока не придет кто-нибудь из знакомых, не оборвет философствующего старика. И уже через пару минут, после обычных приветствий и вопросов, Петр Ильич кидается на нового, трижды несчастного собеседника, удушая нескончаемыми разговорами. Мысли у него путаные, неясные, говорит он о чем угодно и по каждому вопросу с одинаковым апломбом... Схватывались прежде с ним поспорить по детскому неведенью и любопытству и Надя с Павлом, но вот уже два-три года, как пропал для них аромат отцовских философствований, и, не видя больше

в них никакого толку, они обычно отмалчиваются, занимаясь чем угодно, только не «деловою» с ним беседой. Впрочем, это нисколько не мешает им уважать, по-своему даже любить старика и обращаться с ним просто, по-приятельски.

В семье Кудрявцевых была та простецкая, хорошая атмосфера, где не чувствуется ни малейшего гнета, никакого проявления родительского режима, где каждый приходящий через десять минут начинает себя чувствовать «своим» и уходит отсюда полный какой-то умиротворенности, спокойствия; даже трудно было бы объяснить, отчего это так выходило. Сам старик в конце концов был надоедлив и тошен своими разговорами, расспросами, рассказами, пояснениями, вообще своей назойливостью. Правда, с ним и не очень-то церемонились, со второй же беседы приучались не отвечать ему по крайней мере на три четверти вопросов, и это его, видимо, нисколько не обижало — старик обращался к Анне Евлампьевне, а та уж всегда умела свести с ним счеты...

Анна Евлампьевна была добродушнейшая, невиннейшая женщина, вся жизнь которой сосредоточивалась в любви и заботах о детях, в хлопотах по хозяйству... Она только по долгу да по привычке состязалась в разговорах с Петром Ильичом, а по существу ничего не понимала в его разглагольствованиях о Раде, о Советской власти, большевиках, гражданской войне... Петр Ильич при ней говорил все равно что в воздух и потому особенно любил говорить именно с ней, тут уж не встретишь никаких протестов, никаких возражений, тут все, что ни скажи, ладно и хорошо...

Павел Петрович в доме как бы вовсе не чувствовался: разговаривал мало и вяло, сосал неотрывно папироску, что-нибудь перебирал и перекладывал с места на место, много и часто ел, пил, иногда читал, но мало; основательно и охотно засыпал, по преимуществу одетый, уткнувшись на диванчике...

Душой семьи была, несомненно, Надя. Не по годам серьезная и умная, она очень много читала, всем интересовалась, очень чутко относилась и к событиям общественной жизни, но как раз именно в этой области ей многое не давалось, было вовсе непонятно, и этого непонятного никто не мог объяснить. Она, например, не могла понять того, как и отчего существуют столь непримиримые отношения между коренными казаками-кубанцами и большинством приезжего населения; отчего теперь по отделам то

атаманы заправляют, то Советы и отчего именно приезжие, «иногородние», больше льнут к Советам, а казаки от них отшатываются, восстают, борются против них? Даже у себя в гимназии она замечала между подругами какую-то разноголосицу и в отношениях начальства гимназического чувствовала эту самую неодинаковость внимания к тем и другим. Пыталась она говорить и с отцом и с Павлом, но толку никакого не вышло: отец понес ахинею, а Павел отмалчивался, пробормотал что-то невнятное и от разговора уклонился. Так, в неведении, горя охотой все понять и все узнать, не находила Надя верного, желанного пути, не встречала желанного человека, не знала, как и что ответить себе на возникавшие, тревожившие ее вопросы.

II. На Дубинке

На Дубинке, в доме Гущина, вот уже четыре года живет рабочий с завода «Кубаноль», Степан Петрович Караев. У Караева семьи нет — пятый год пошел, как схоронил он чахоточную жену,— и с тех пор один, бобыль бобылем. Занимает он крошечную комнатку во флигеле, кроме завода нигде не бывает, а по вечерам до поздней ночи в тусклом его окошечке светит лампа: Степан Петрович большой охотник до книг. Его на заводе недаром прозвали «учителем»: справку ли надо какую получить, объяснить ли что, узнать — всегда обращаются к нему. И на все вопросы отвечает этот удивительный грамотей-«учитель». К нему товарищи относятся с уважением, хоть и не прочь иной раз подтрунить над книжной караевской ученостью:

— А скажи ты, учитель, почему это у человека пять пальцев на руке, а не восемь,— ладнее, кажись, было б работать-то?

— Значит, не ладнее, коли пять,— отвечал Караев серьезно, будто и не поняв вовсе шутки.

— Ну, а все-таки, как же это по книге у тебя там выходит?

— По книге никак не выходит... А вот болтаешь ты, Карась, и сам не ведаешь, чего болтаешь,— урезонит Караев.— Как удобнее, так оно и складывается, а что неудобно в жизни, то навсегда пропадет... Может, и было когда восемь, да не к делу оказались — и осталось тебе, сердешному, только пять... А что те больше хочется — хватит и этих на чужое-то рыло работать...

И Степан Петрович всегда от шутки так повернет разговор, что у собеседника враз отпадет охота шутить, а вместо шуток складываются невольно какие-то другие речи, родятся какие-то другие мысли, которые и близки и понятны, про которые надо и думать и говорить, говорить...

Угреватое желтое лицо Караева на первый взгляд кажется сухим и неприветливым, но это только на первый взгляд. А разговорись с ним, и добрые карие глаза засветятся внутренней теплой ласкою, и слова его, такие простые и всегда нужные, завлекут тебя, затянут, заставят слушать, отвечать, спрашивать...

Сегодня Караев весь день как-то особенно серьезен и молчалив: на работу пришел позже обычного, ушел тоже раньше всех — это с ним случается редко. В комнатке у него прибрано, вещи уложены, словно ехать куда собирается, и все ходит он, ходит — перекладывает их с места на место. Рядом с комнатой, где он живет, находится небольшой чулан, и там прибрано, а на стене подвешена жестяная маленькая лампочка. Взялся за книгу, почитал немного, мысли не те,— оставил. Отбросив верхнюю занавеску, вытянул с печки небольшой медный самоварчик, начал возиться с углями. Потом сидел за чаем и тихо, медленно высасывал стакан за стаканом... Выходил в сени, выходил и на двор, за ворота. Снова усаживался к столу и все ждал, ждал чего-то напряженно...

Спустились сумерки, в комнате стало совсем темно, но огня Караев не зажигал. Где-то поблизости в железную крышу дома вдруг ударились один за другим два брошенных камня. Караев встал и вышел за калитку — там с противоположной стороны быстро перескочили к нему две тени:

— Спокойно?

— Спокойно все... Налево... Не ткнитесь — приступки тут. А где же ящик, у Климова?

— Да,— ответил кто-то второпях,— не закрывай, они вслед за нами.

Через минуту от палисадника отделились еще две фигуры, в руках у них чернело что-то массивное. Караев быстро выскользнул им навстречу, подхватил ящик спереди, и так, втроем, втащили его через калитку прямо в чулан. Зажгли лампочку, прикрыли ее тряпкой, начали распаковывать. Остальные прошли в комнату, осмотрелись, пощупали стены, тихонько постучали здесь и там, заглядывали

во двор, приподнимая занавеску: темная темь, ничего не видать!

Это на новую конспиративную квартиру пожаловали к Караеву подпольщики-большевики. Притащили с собой шрифт, краску, станок, бумагу — сегодня надо было готовить воззвание. Двое, что прошли в комнату, видимо, очень торопились, три раза приходили в чулан, понукали товарищей заканчивать:

— Потом разберется... Успеете... Ну, айда, айда, поживее.

Вошли. Сняли шапки и широкополые шляпы; один, высокий, стройный, черноволосый, с черной курчавой бородой, вдруг сдернул парик и оказался совсем молодым человеком лет двадцати, двадцати двух. Это — Виктор Климов. В черных серьезных глазах еще дрожали быстрые огоньки беспокойства. Матовое лицо передергивалось нервной рябью. Другой, среднего роста, Степан Пащук, отклеил рыжие тараканьи усики и с улыбкой положил их перед собой на столе. Степану было лет тридцать: плотный, коренастый, с высокой грудью, с быстрыми черными огнистыми глазами; движенья порывисты и нервны, голос глухой, надорванный.

И Климов и Пащук тотчас разделись, побросав на пол шапки и обтрепанные пальтишки. Те двое, что вошли первыми, сидели за столом не раздеваясь, шляп не сняли — видно, торопились уходить. Одному можно было дать лет двадцать пять — тонкоусому, с небольшой русой бородкой; другому — лет сорок; этот не наклеил ни усов, ни бороды, только низко опустил на морщинистое лицо широкополую старую шляпу — Кирилл Паценко, урожденный кубанский казак, недели три назад приехавший из Акатуя, где пробыл без малого четыре года. Сосед его, тоже из ссыльных, Тарас Бондарчук, последнее время почти безвыездно работал в Армавире и только накануне приехал в Краснодар.

— Ну, вот что, ребята,— сказал Паценко. И голос его прозвучал серьезно и внушительно. Видно было, что он здесь главный.— Мы наскоро обсудим теперь же, а вы обработаете сами... Лиза говорила, что из штаба получены какие-то новые сведения, и мы с Тарасом сейчас уйдем.

— Кто дал? — спросил Климов.

— Опять Владимир...

— Ловко приладился, молодчага,— уронил одобрительно Пащук.

«Владимир» — это была кличка одного из товарищей,

устроившегося писарем в штабе генерала Покровского и передававшего изо дня в день в подпольную организацию все необходимые материалы.

— Так вот,— продолжал Паценко, опустив голову и не глядя ни на кого,— мы с Тарасом пойдем... Приехали там еще из Новороссийска — ждут... Надо все разузнать и сообщить им свои новости... Лиза говорила — какие-то перемены...

— Где? — спросил Бондарчук.

— В Раде... Она будто раскалывается: одни уходят, другие хотят бороться до последнего в городе и города не сдавать...

— А Покровский? — спросил снова Бондарчук.

— Первым, сволочь, убежит,— вставил Климов и улыбнулся, широко обнажая здоровенные кряжистые зубы.

— Убежит-то убежит,— вслух рассуждал Бондарчук,— а вон что вытворяет — насчет Казанки все верно: четыре виселицы... и двенадцать человек в овраге.

— Вот это и надо вклеить,— ткнул пальцем в стол Паценко и взглянул на Климова, как будто указывая ему место, куда именно следует что-то «вклеить».— Даже на этом и построим, как думаешь? — обернулся он к Пащуку.

— Чего ж, отлично,— соглашался тот, похлопывая тихо себя по коленям.— Только я думаю, что два разных придется писать: одно про Раду, другое про Казанку...

— Да где уж, не успеем,— запротестовал было Тарас.

— Молчи, Тарас, молчи,— перебил его Пащук,— раз говорю, значит, сделаем... с Климом... Вдвоем да не сделать,— на что мы и годны после этого?

— А ну-ка, давайте скорей,— быстрым шепотком торопил Паценко. Ему не терпелось, сообщение Лизы не давало покоя.

Караев молча сидел на самом конце лавки и в разговор не вступал, только переводил с одного лица на другое темные грустные глаза.

— Степан, ты, значит, с собой захватишь половину? — обратился к нему Паценко и мотнул головой в сторону Клима.

— Возьму...

— Да не всыпься, дядя...

— А всыплюсь, отрыть можно,— отшутился тот без улыбки на спокойном лице.

— То-то, отроют... Не всегда, брат, удается... Так вот что,— обернулся он снова к Пащуку,— не лучше ли будет,

чтоб ты пока один тут кой-чего набросал, а мы поговорим о другом, понимаешь? Мысли только главные... а все остальное вы там вдвоем с Климовым...

— Идет.

И Пащук достал бумагу, перед собой положил карандаш, отодвинулся на другой угол стола, потер ладонью морщинистый лоб и так, с поднятой головой, закрыв глаза, сидел с минуту. Потом схватил карандаш и быстро-быстро стал записывать. Тем временем Паценко, Климов и Тарас, наклонившись друг к другу, разговаривали тихо, чтобы не мешать Пащуку.

— Ты, Степан Петрович, тоже придвигайся,— обратился к Караеву Паценко.

Тот молча сел рядом на полу, выдернул колена и, широко охватив их руками, застыл без движения.

— Мне кажется, надо будет ехать в Новороссийск,— сообщил товарищам Паценко.— Они там что-то надумали... надо быть, на этих же днях и подымутся... Все полотном не пойдут — часть ударит к Тимошевке, а другая здесь, от Крымской...

— Он, сукин сын, почуял, видно, что дело неладно,— мотнул рукой Бондарчук, и было понятно, что речь идет о Покровском.

— А что?

— Да очень уж газеты жалобны стали: «Братья казаки... дорогие защитники свободы»... Соловьем разливается, подлец, а нет-нет да и сболтнет: Кубань-де в опасности, гроза, мол, не миновала...

— И по заборам тоже,— добавил Климов.— Вчера одного из буковских, рабочего, на Сенном избили...

— На Сенном?

— Заметили, с забора сдирал листовку какую-то, а тут из окна капитан увидал, выскочил в одной рубашке, подтяжками трясет, орет, бежит на него... Ну, солдаты баню дали, говорят, здоровую...

— Сдирают ловко,— добавил Бондарчук.

— А то нет? К вечеру везде облупят... Я гляжу, наши-то,— сказал Климов,— едва ли дольше висят?

— А вы, ребята, вот что,— перебил Паценко.— В центр лезть не стоит, чего тут... Дело делом, а зарываться все-таки не годится, да и толку, по-моему, тут нет никакого... Кому развешивать? Надо все-таки знать, что сила наша по краям,— вот уж тут клей где попало, а в центре — в центре совсем даже советую бросить...

— У Буковского сколько работают?
— То есть по заборам? — спросил Климов.
— Да...
— Расклеивают четверо, а раздают по рукам, я уж, право, и не помню... во всяком случае, там хорошо...
— У Саламака?
— Там Пархоменко, а кто у него... Да, кто у него, ты не знаешь, Степан Петрович? — обратился Климов к неподвижно сидевшему Караеву.
Тот вскинул глазами, помолчал и чуть слышно ответил:
— Шестеро...
— А у тебя?
— У меня тоже шестеро, кроме самого... я мальчишек еще двоих приладил.
— Мальчишек хорошо, только осторожней надо,— серьезно сказал Паценко.— Я как раз и насчет этого хотел сказать. У нас тут с молодежью с учащейся нет ничего — никак не связаны, а надо бы связаться, да теперь же... Если работы не будет, через них хоть узнавать что-нибудь...
— Э, брось ты, Паценко,— запротестовал Бондарчук,— до того ли? Ну, на кой они черт, эти казацкие дочки, какой тут толк? По-моему, и сил отрывать не стоит, одна чепуха...
— Пожалуй...— промычал согласно и Климов.
— А я думаю, наоборот,— нисколько не меняя тона, продолжал Паценко.— Как можно этаким образом рассуждать?.. Мало ли что мы думаем? А ну как и на этот раз неудача, да как останется тут все, ну хоть полгода, что ли... Значит, опять не трогать? Нет, нет, нет, ребята... Я не согласен. По-моему, сейчас же... Что будет, то будет, а предвидеть всегда надо худшее...
— Чепуха,— горячо перебил Бондарчук.— Не надо... Совсем чепуха... Ты гляди,— обратился он к Климову, почувствовав в нем единомышленника.— Надо ведь дать когонибудь дельного, не так ли?
— Ясно,— подкрепил Паценко.
— Ну, вот тебе и ясно... Надо дельного, потому что все-таки ученая вся тут компания... И язык надо круглый, и с головой, а где они, ученые-то, кого ты дашь?
— Да что ты, братец, гремишь впустую,— тихо успокаивал Паценко,— а ты не кипятись, какого черта?.. Потом, мы же ничего еще и не решили, только говорим... А я думаю, надо будет и его потревожить,— указал он пальцем

на Пащука.— Эй, Сократ Пантелеич, заканчивай... Голос нужен.

Пащук приподнял от бумаги голову и посмотрел совершенно рассеянно — он ничего не слыхал из того, о чем спорили товарищи; он мастерски умел приспособляться к работе в любой обстановке и мог под шум, под крики составлять самые дельные статьи и заметки, будто все мысли и даже фразы были у него давно готовы и теперь он их только механически заносил на бумагу.

— Ты скоро ли кончишь?

— Кончаю вторую... А что я?..

— Да нужен бы к разговору.

— Ну, кончай, кончай, только поскорее... кстати, нам и идти пора бы,— взглянул он на часы и почесал затылок под шляпой, поддав ее еще ниже на нос.

Через две минуты Пащук окончил работу.

— Курнуть бы, а? — обратился он неопределенно, не глядя ни на кого.

Степан Петрович достал кисет. Стал вертеть из газетных обрывков здоровенные, толстые цигарки.

— Я вот что, Пащук,— обратился к нему Паценко,— я говорю — с молодежью тут пора бы побудоражить, потому что...

— А кто ж не говорит? — прервал его Пащук.

Он иногда выражался странно, и это было всегда в те минуты, когда голова все еще полна была неотлетевшими мыслями, а слова выскакивали сами собою.

— Да ты понимаешь ли, что я говорю? — улыбнулся Паценко.

— Ну да, насчет молодежи...

И Паценко рассказал ему коротко, в чем дело. Пащук горячо встал на его сторону. Климов сначала колебался, а потом согласился и сам.

— Во всяком случае, хуже не будет,— решил он вслух.

Один Бондарчук упорно стоял на своем и отрицал в этой работе всякий смысл, твердя все об одном:

— Сил и так нет, а вы и ее губить хотите, останную силу.

— Лучше всего, Климов, знаешь ли, тебе бы взяться самому,— сказал Паценко.

— А как же?..— посмотрел на него вопросительно Климов и мотнул головой в сторону чуланчика, намекая на то, как же, дескать, типография.

— А Пащук с ней... И Лизу можно... Она уж малость работала... Обвыкнет... Ты как сам-то?

— Я что, я ничего... Только слажу ли?..

— Сладишь, Витя, сладишь, в тебе ладу много,— похлопал его по плечу Пащук и густо пахнул махорочной струей.

Решили Виктора отрядить на работу с молодежью.

— Читать, что ли? — развернул Пащук исписанные бумажки.— Тут в самых что ни на есть кратких словах...

— Вали,— согласился Паценко.

Бондарчук сидел угрюмый и насупленный. Орехово-зуевский ткач, сын ткача, потомственный пролетарий, он с большим недоверием смотрел на всякие затеи в нерабочей среде, ни на грош не верил интеллигентам и уважал из них только немногих, которые все время были с ними вместе, которых изо дня в день он мог проверять на непосредственной работе. Поэтому не верил он и теперь, что с «девчонками» выйдет какой-нибудь толк.

— Придется, Виктор, во все тяжкие пускаться,— продолжал Пащук,— и вальсом кружить, и слова ласковые...

Климов молчал, улыбался, забористо тянул цигарку.

— Пащук, Пащук, к делу,— торопил его Паценко.

— Только покороче, знаешь ли, одну середку...

— Идет...

И пункт за пунктом передал Пащук содержание двух предполагавшихся листовок. В одной клеймилась предательская, фальшивая деятельность Рады, указывалось, как она, прикрываясь красивыми лозунгами, идет покорно на поводу у монархиста Покровского и выполняет, по существу, самое черное, грязное дело... Говорилось о том, что представители станичников в Раде околпачены, что наиболее сознательные из них уже поняли это и из Рады бегут, что красные войска подступают к самому Краснодару и надо помочь им освободить Кубань от генеральского гнета, но не с Радой, а против Рады, потому что... и т. д. и т. д.

В другой листовке красочными, сочными мазками набросал Пащук картину издевательств и зверств, учиняемых офицерьем по запуганным, немым станицам... И как пример приводил недавний расстрел в Казанке и поставленные там четыре виселицы.

«Кубанцы! Трудовые казаки! Рабочие и крестьяне! Поймите этот кровавый ужас, поймите, к чему приведет вас эта расправа царского генерала»,— заканчивал Пащук вто-

рую листовку и звал на восстание, звал объединиться с наступающими красными войсками, быть им подмогой.

Поговорили недолго. Обработать листовки поручили ему вместе с Климовым. Паценко с Тарасом скоро ушли. Степан Петрович проводил их до калитки, отодвинул бесшумно засов, вышел первый, осмотрелся вокруг и, когда уверился, что нет никого, пропустил их мимо себя, пожимая руки.

Добрый час Пащук с Виктором писали и переписывали, а когда закончили — возились в чулане при свете тусклой лампочки, чуть разбирая мелкие свинцовые куколки шрифта, перекладывая их с пальца на палец, бережно и плотно приставляя друг к другу, словно лепили холодные и гладкие соты... Когда набран был весь текст, уложили заверстанные полосы на ящик, плотно сомкнули, накатали накрашенным валиком, притиснули первый лист... Тиснули второй, третий... Разделили полосы пополам — проверяли, отмечая на полях, потом снова брали крошечные буковки, одни вытаскивали, другие вставляли и, когда весь текст был начисто проверен и исправлен, поочередно начали тискать листок за листком... Степан Петрович тем временем сготовил самовар, наломал большими кусками хлеб в тарелку, пришел за ребятами в чуланчик:

— Идите-ка заправиться... Ишь, носы раскрасили...

— А ты, Степан Петрович, сменой будешь. Ну же, подходи,— командовал ему Пащук.— Вот так, теперь намажешь... Кладешь, ну, нажимай...— И он обучал Караева новому ремеслу.

Уж давно прокричали петухи...

Бледнело глубокое темно-синее небо, откуда-то издалека глухо гудел гудок. Просыпались утренние шорохи и вздохи... Комната посерела... В тонкие щели чуланчика заползали рассветные бледные полосы...

А они втроем все крутились около станка. Тут же жевали хлеб, прихлебывали из стаканов остывающий чай.

Наутро листовки были готовы...

III. Бал

Сегодня у Нади много хлопот. Она весь день занята приготовлениями к концерту. Концерт устраивается в пользу раненых солдат Добровольческой армии. Начальница той гимназии, где должен состояться концерт-бал, отобра-

ла группу учениц и поручила им все заботы, а сама то и дело ездила в штаб, тоже хлопотала, сносилась с разными высокими чинами — жаждала блеснуть, отличиться, показать себя во всей красе великодушного порыва.

В число избранниц попала и Надя. Она с большой охотой взялась за порученное дело и последнее время занята была до позднего вечера: собирала, раскладывала, размеривала, тоже металась по разным учреждениям, приглашала артистов, устраивалась с музыкантами, раздобывала разное добро, вместе с подругами перевозила его в отведенный для этого класс и была всецело поглощена своим новым живым, интересным делом. Ей впервые приходилось исполнять нечто такое, где она перестала чувствовать себя ученицей, где не было обычной суеты над книгами, забот об уроках, ответах, удачах и неудачах, где она чувствовала себя и более взрослой, и более серьезной, и, казалось ей, по-настоящему нужной и полезной!

Анна Евлампьевна только руками разводила:

— И что это ты, Надюшка, есть совсем перестала, деньденьской шатаешься?

— Ах, мама, ты не представляешь,— щебетала весело Надя,— ты не знаешь, какие будут силы... Всех из театра забрали — самых лучших... Два оркестра духовых, от штаба... Игры, масса игр... И Анна Петровна, начальница, говорила, что все будут принимать участие, а старший класс останется до конца... Наша группа только готовит бал, а во время бала торговать и помогать будет другая группа... Мы там свободны. Мы там — э-эх, погоди-ка! — весело щелкнула Надя.

— Ну, так что, что до конца: обедать-то надо все-таки или нет? — сокрушенным голосом возражала Анна Евлампьевна.

— Да что ты: обедать-обедать, вот кухмистерша какая! Мы же и там... Накупили такую массу... Буфет... знаешь, наверху, в третьем классе, как раз над папиной канцелярией. Поваров тоже от штаба и откуда-то из ресторана. Входных билетов совсем не будет — только на места... И Анна Петровна говорит, что разобрали... Ничего не осталось... Цены — выше некуда... Сбор, говорят, такой будет — на редкость!..

— И она с вами тут?

— И она... весь день, мамочка, буквально весь день... Ну, не узнаем мы свою Анну Петровну. Такие хлопоты развела — то и знай: а это купили, а это привезли, а это

есть, а это есть, а того известили?.. Девчонки говорят — как старшая подруга стала...

— Ишь, развеселились,— как бы укоризненно обронила по чьему-то адресу Анна Евлампьевна.— Чему веселятся, что хорошего-то затеяли?

— Да что ты, мама... Что ты, право, сегодня какая, шипишь и всем недовольна... Говорю я тебе, что там закусываем. Совсем и не голодна...

— Не голодна,— с трудом, неохотно сдавалась Анна Евлампьевна,— а вон глаза-то совсем провалились...

Надя вдруг повернулась, подошла к зеркалу и стала рассматривать лицо, то щурила глаза, то широко их раскрывала, морщила губы, постукивала зубами и рассматривала их чеканную, ровную, блестящую цепочку... Гладила шею, поправляла волосы, проводила тихо, мягко по щекам, словно отыскивая, что тут пристало... Даже за нос себя потрогала...

В ней пробудилось за эти последние дни то самое повышенное, возбужденное состояние, которое испытывала она всегда в подобных случаях: как только вечер, бал, именины ли у подруги — Надя будто перерождалась в веселую, беззаботную, смеющуюся юницу; она в этих случаях была просто неузнаваема, и немало дивились подруги, когда Надя звонко, весело хохотала, носилась и прыгала в играх, резвилась, как ребенок, захватывала и увлекала всех своей простодушной, искренней веселостью, охотно и много танцевала, пела в хору. А наутро ее встречали — снова серьезную, спокойную, тихую, будто увлек вчера Надю случайно какой-то дикий шквал, покрутил, повертел и оставил снова погруженной в свои мысли, занятой какими-то своими неизменными, постоянными заботами.

— Скоро, что ли, пойдешь? — спросила Анна Евлампьевна.

— Скоро, мамочка, скоро, пора собираться... Ты принеси мне, пожалуйста, платье сюда, я пока причешусь... А выгладила, успела?

— Нет, вот тебя стану ждать,— нежно ворчала мать, ковыляя в другую комнату.

Надя собиралась. Скоро зашел за ней Коля Прижанич, гимназист последнего класса. У Прижанича с Надей, собственно, не было еще никакой интимности. Но последнее время они действительно встречались часто, много вместе гуляли, много говорили, и эти несколько «бальных» дней Прижанич неотлучно был при Наде, помогал ей хлопотать

по устройству концерта. Таких «помощников» в гимназию приходило много. Начальница сначала косилась, даже делала замечания, а потом, войдя в роль «подруги», перестала вмешиваться, и гимназисты валили толпами... Время приготовлений к концерту было началом целого ряда романов в гимназической среде. Что-то в этом роде начиналось и у Прижанича с Надей. Сын богатых родителей, владельцев одного из лучших домов в городе, Прижанич считался «барином» даже в своей товарищеской среде. Одетый с иголочки, обычно надушенный и припудренный, с четким пробором гладко причесанных волос, высокий, стройный юноша, он как-то с первого взгляда отталкивал своим высокомерным видом, горделивою походкой, привычкой обращаться со всеми свысока, глядя всегда через голову того, с кем говорил, словно его собеседника тут и не было вовсе.

Он свободно изъяснялся по-французски и по-немецки, великолепно играл на скрипке, ловко танцевал мазурку, был даже изрядно начитан и умел говорить на любую тему. Надя была польщена тем вниманием, с которым относился он к ней за эти последние дни,— он, такой для всех неприступный и гордый! Была не раз взволнована Надя теми странными и обычно так мало понятными разговорами, которые он вел с ней,— о Толстом, о Шопене, о браке, о боге, о гражданской войне на Кубани... О чем они только не говорили! И по каждому вопросу Прижанич рассыпался одинаково уверенно, обо всем, казалось, имел он твердо установившееся мнение... Это особенно нравилось Наде — потому, главным образом, нравилось, что сама-то она этих твердых мнений как раз ни о чем и не имела. Все она знала понемногу, все как будто и понимала, но связать в одно целое, пронизать все свои разрозненные знания каким-нибудь одним ясным мировоззрением — нет, этого она еще не могла, не умела! И потому в Прижаниче видела она человека бесспорно умнее, чем сама она, потому и была польщена, потому и радовалась, торжествовала в душе, что он так явно стремится к ней подойти все ближе и ближе... Когда, уж совсем одетая, она услыхала теперь, что Прижанич зашел, чтобы вместе идти на концерт, Надя радостно вспрыгнула, зарделась, пуще прежнего заторопилась.

Огромный зал гимназии залит огнями. По стенам однообразной плотной чередой стоят блестящие глянцевитые

стулья; будто нарядные куколки, красуются расцвеченные, увешанные гирляндами киоски, и из них, словно многоцветные веселые попугайчики, выглядывают милые головки, засыпанные конфетти и серпантином, украшенные ранними цветами, цветными гребенками, булавками, шпильками... В зале не курят: чисто, высоко, светло, просторно. У дальней стены приподнялась обитая бархатом эстрада, над эстрадой два огромных портрета — в полном блеске, в орденах и в эполетах, перевитые цветными аксельбантами, увешанные дорогими погремушками. Чинно, одна за другой проплывают медленно пары, ходят раз, и два, и три, все по кругу, мимо стульев, одна другую внимательно оглядывают, улыбаются; зал гудит от смеха и от веселых разговоров... По коридорам разместилась молодежь, прилипла на подоконниках, забилась в классы, и здесь ей, видимо, свободней, веселей, чем в залитом огнями, торжественно убранном зале. Тут же, около хорошеньких гимназисток, то и дело вертятся, прихорашиваются, звенят малиновым звоном ловкие, расфранченные, блестящие офицеры. Они снисходительно посматривают на молокососов-гимназистов и реалистов, лишь изредка удостаивая их каким-либо незначительным коротким ответом. А те покуривают в кулак или в полуоткрытую форточку, выставив во все стороны дозоры, неестественно громко и фальшиво смеются, пытаются говорить вразумительно, авторитетным баском, чуть покровительственно, чуть-чуть небрежно... Всюду гам, смех, девичьи взвизги, хлопанье в ладоши, торопливые веселые, звонкие разговоры... Вдруг среди этого веселого гомона для всех неожиданно грянула музыка! Обернулись, оглянулись в ту сторону, заторопились, многие быстро направились в зал, скользя оторопело по глянцевитому блестящему паркету... Концерт открывался. И, как это всегда случается, публика долго не могла разобраться со своими местами: разыскивала кресла, приставные сбоку стулья, рассматривала какие-то чуточные голубые талончики, друг друга спрашивая, друг другу объясняя. И все выражали недовольство, но вслух и громко не бранились, только отходили прочь, скорчив недовольную мину. Спорить было здесь не к месту: и общество собралось здесь, так сказать, наивысшее, одни избранники, да и цель концерта была почти что «святая»,— ради этой высочайшей цели можно было и обуздать свои человеческие слабенькие страстишки... Поэтому и самая суета была здесь величественно-торжественная, вполне почтенная, очень милая

суета. Когда четвертые, шестые, десятые ряды были заполнены, когда там все угомонилось и разместившиеся дамы тяжко отдувались от только что минувших тревожных поисков, а почтенные мужья их медленно и вдумчиво ошаривали потные лысины, в это время стали заполняться первые ряды. Тут не было никакого замешательства, не было даже и намека на какое-либо внешнее воздействие — нет, все это совершилось само собою, по раз установившемуся обычаю, ибо оно и не могло совершиться иначе: задние ряды всегда должны были видеть и чувствовать, кто сидит в передних, и... завидовать.

Но вот уже разместились и передние ряды. Попритихло кругом, только из коридоров доносилось отдаленное шевеление. Но скоро и там затихло.

Плавно, величественно и строго, с большим достоинством и пониманием важности момента выступила первою «душа бала», несравненная Анна Петровна, начальница гимназии, и долго склоняла во всех падежах любимое выражение «моя гимназия». Она благодарила собравшихся за честь, которую оказали они своим посещением «моей гимназии»; говорила о традициях гуманности, которыми жила все время и живет до сих пор «моя гимназия»; говорила о благородстве и возвышенности целей, поставленных себе устроителями концерта в «моей гимназии»,— одним словом, ее речь была направлена к тому, чтобы собравшиеся уяснили себе, какую колоссальную общественно-политическую роль играет ныне в государственной жизни «моя гимназия». И все поняли, что хотела сказать Анна Петровна, все приветствовали ее, когда она, взволнованная и раскрасневшаяся, с еще большим достоинством на сияющем лице плавно, величественно спускалась с эстрады. Вслед за нею, лохмат и страшен, словно исчадие ада, вырвался откуда-то совсем неожиданно гимназический «батюшка». У него коричневой щетиной заросла не только голова, но и половина лба была сплошь волосата, и только белою полоскою просвечивала другая, узкая незаросшая половинка. Косматая борода лопатой падала вниз, а сверху проросла насквозь обе щеки, засыпала нос волосами, законопатила губы, скрыла в жестком волосяном мху оба уха — и от батюшки ничего не осталось, виднелся издали только страшный шар, волосяной, круглый сверху и чуть-чуть распластавшийся внизу. Когда батя начинал говорить, все его волосяное царство приходило в движение и было невозможно разобрать, откуда эти звенящие, лукавые, за-

искивающие нотки святого голоска: тряслись волосы возле ушей, встряхивался и законопаченный наглухо нос, и что-то шамкало, чавкало около губ. Батя мог говорить временами не то что восторженно, а прямо исступленно,— это случалось с ним обыкновенно в минуты негодования, когда кого-нибудь следовало проклинать, посылать кому-нибудь смертоносные укоры, впускать христианское жало в нечестивую душу и сверлить, сверлить, сверлить этим жалом, насколько хватит сил. Тут у него работали ноги и руки, вздымались, опускались, топали, хлопали, бурно протестовали, а темная широкая ряса, словно парус в непогоду, рвалась и металась в разные стороны, качала, как былинку, разгоряченного отца Гавриила — батю звали Гаврилой. Вздымалось валунами, дрожало и плясало его дремучее волосяное царство; здоровенная лопата билась по груди, а заросли возле носа и губ, сквозь храп и фырканье заплеванные негодующей ядовитой слюной, дрыгались в разные стороны и гневно тряслись — в соответствии с общим состоянием Гаврилы.

Батя гнусавым и кротким голосочком совсем тихо повел свою святенькую речь. Но чем дальше, тем больше входил в азарт, то и дело подогреваясь словами проклятья, что вырывались бурно из его дремучих волосяных зарослей.

— Богу угодно было, чтобы мы собрались ныне для святого дела помощи младшему своему страждущему брату. Сердце человеческое не может, дети мои, оставаться спокойным, когда земля застонала под мечом диавольским.

Пока Гаврила перечислял эти свои соображения, он спокойно стоял на месте. Только однажды, при упоминании имени господнего, воздел кротко руки к небу и чуть запрокинул лохматую голову. Все было в порядке. Но когда он перечислил соображения насчет гнева господнего до конца, когда он перешел к проповеди, укорам и проклятьям,— тут музыка пошла иная: Гаврила распрыгался и расплясался по сцене, как дикий разъяренный буйвол, и, надо полагать, брюхатые толстячки, сидевшие в первых рядах, чувствовали себя небезопасно. Гаврила размахивался что есть мочи здоровенными кулаками и с невероятной силой ударял по пустому пространству, сокрушая ему одному видимого врага. Он так могуче наносил удары, что начинало казаться на самом деле, будто кого-то он тут колошматит. Прорывавшаяся тягучая батина слюна расплевывалась яростно по сторонам, и мелкие брызги ее долетали до пер-

вых рядов. Через три минуты батиной речи толстяки и толстушки из передних рядов уже сидели, прикрывшись платочками, ежесекундно ожидая новых плевков освирепелого Гаврилы.

— ...они нарушили все законы божеские и человеческие, они разрушили святыни христианские, они господа бога вырвали из сердца, и проклял их господь, отвернул от них лучезарное лицо свое, наслал голод и мор на их проклятые города!..

Это батя костил большевиков.

— Где она, святыня? — завопил он дальше задрожавшим голосом.— Где она, церковь христианская? Где спокойствие земли русской, православной и где,— не загрызен ли зверями лютыми,— ее венценосный, богом поставленный правитель?

Когда был окончен и этот номер, один за другим показались на сцене «общественные деятели». Если Гаврилу возмущали главным образом преступления большевиков перед богом, то «общественных деятелей» возмущали большевистские грехи перед человечеством.

— ...Эти заклятые враги человечества и культуры, эти хищные варвары,— сыпалось по адресу большевиков,— пришли и восстали единственно затем, чтобы разрушить добытые веками завоевания цивилизации и на пепле разрушенного прекрасного дворца культуры поставить грязное, смрадное царство... Они «отнимают»,— что это значит? А это значит лишь одно: прикрыть красивыми словами самый бесчеловечный, вандальский погром и грабеж...

Таких речей было большинство, но были речи, построенные и иначе, так сказать, менее глупо.

— Кубань не может примириться с мыслью,— доказывал один из «умников»,— с мыслью о том, что она всего-навсего богатая распаханная равнина, что ее надо сосать, доить, выжимать весь сок до полного изнеможения. Кубань еще и свободная страна,— если хотите, это маленькое самостоятельное, вольное издревле государство. И мы не хотим над собой ничьей тяжелой руки — ни царской, ни большевистской. Проживем сами по себе и сами собой сумеем управляться...

Оратор грустно поклонился. Аплодисментами проводили его с эстрады.

«Освободители» и «защитники» еще долго вылущивали свои гибкие, гладкие речи, заполненные клятвенными обещаниями, но даже и столь нетребовательной аудитории

через тридцать — сорок минут сделался тошен, невмоготу фальшивый этот пафос, безудержный ребяческий восторг и клятвы, клятвы, клятвы, которыми, как бисером, были унизаны все эти приторные, холеные речи. Уже на пятом ораторе поднялись из передних рядов двое толстячков и вышли. Через минуту вышли еще двое. Стали, по примеру передних, ворочаться неуверенно и в задних рядах — постукивали и поскрипывали стульями; кое-где начинали раздаваться частные разговоры, сначала шепотом, потом все громче и громче... Этим невежам сперва было шикали и строили недовольные мины, а потом перестали, ибо перешептывание сделалось всеобщим. Догадливая Анна Петровна, заметив понижение интереса к речам, сейчас же переговорила с кем следует и, заручившись согласием, одобренная и похваленная за тактичность и догадливость, за чуткость, распорядилась переходить к очередным номерам. Номера были незамысловатые — все те же, что всегда на подобных концертах: рассказывали чудаки смешные рассказики; актрисы и актеры декламировали то в одиночку, то попарно разную патриотическую чепуху; декламировали и чистенькие гимназисточки совершенно детские, невинные воробьиные стишки. Певуньи распевали, говоруны разговаривали, игруны наигрывали, плясуны отплясывали... Это было второе отделение. В третьем отделении — танцы.

Молодежь все гуще набивалась по коридорам; иные в классах откупоривали принесенное тайком вино и тянули из горлышка «для веселья»; парочки старались поукромнее выбрать уголок или спускались вниз по ковровой лестнице, толкались в раздевальной, выходили во двор... Надя с Прижаничем сидели на подоконнике в дальнем углу коридора, когда Чудров, один из знакомых ей реалистов, подвел к ней какого-то незнакомого молодого человека.

— Надя, вот мой приятель... Он очень хочет с вами познакомиться...

— Кто такой?

— Один знакомый, литератор...

— Литератор? Здешний?

— Нет, из Новочеркасска... Недавно приехал...

Надя охотно дала согласие. Чудров представил:

— Виктор Климов...

Познакомили Виктора и с Прижаничем...

После той ночи у Караева, когда он с Пащуком набирал листовки, Виктор успел многое сделать. Он уже установил прочную связь с неказачьим реальным училищем,

откуда, между прочим, был и Чудров, связался с учительским институтом, двумя женскими гимназиями... Человек десять — двенадцать из этой молодежи встречались с ним ежедневно и подолгу охотно беседовали, то усевшись где-нибудь укромнее на лавочку, то забравшись к кому-нибудь на квартиру.

Надю Кудрявцеву указали ему как серьезную, умную девушку, и он теперь выбрал удобный случай, чтобы познакомиться. Недружелюбно, зло, высокомерно поздоровался с ним Прижанич. Виктор понял и оценил его с первого взгляда. Зато Надя сразу весело защебетала, осыпала его градом вопросов, и Виктору показалось, что он ошибся, что нарвался на обычную пустомелю и хохотушку, с которой не стоит даром времени терять. Но мало-помалу, разговорившись, он увидел, что под этой с виду легкомысленной, праздничной веселостью действительно кроется что-то другое, ради чего стоит с нею говорить, стоит ею заняться... Разговор принял сразу оживленный характер, и главным образом у Нади с Виктором. Прижанич молчал, ожидал нетерпеливо, скоро ли будет выговорена эта обычная чепуха, что всегда выговаривается залпом при первом знакомстве. И не уйдут ли, на счастье, эти нежеланные собеседники. Но разговор с первых слов пошел другою дорогой. Климов не торопился уходить. Не уходил и Чудров; он примостился на подоконнике рядом с Надей и неотрывно смотрел в лицо Виктору восхищенными влюбленными глазами; было видно, что этого Климов обработал по-настоящему.

— Вы у нас давно? — спросила Надя.

— Только приехал. Тут дядя у меня, телеграммой вызвал,— плел Виктор привычную басню о своем внезапном появлении с Дона.

— Что, беда какая-нибудь? — И Виктору показалось, что в глазах ее засветилось тревожное участие...

— Нет, беды никакой... Но уж такой он чудак: писем не любит писать...

Она засмеялась, засмеялся и Виктор.

— Ну, как наш бал? — продолжала она, видимо не желая ударить в грязь перед литератором.— Весело вам?

— Да что же, бал как бал, такие везде...

— Нет, вы все-таки поточнее: слышали речи?

— И речи слышал.

— Как батюшка-то наш расходился, а? Все вопросы

в одну дугу скрутил! Чудак, он всегда у нас такой: как заведет, только слушай, чего-чего не наберет...

И Надя выжидательно примолкла, не зная, как отнесется новый знакомый к такому разговору. Прижанич, молчавший все время с презрительной миной на лице и явно недовольный приставшими собеседниками, тоже насторожился, ждал, что скажет Климов. Он чувствовал в нем своего недруга — беспричинно, с первого взгляда, не сказав с ним еще и одного слова. И, угадывая, что Виктор батюшке больших похвал не отвесит, решил схватиться с ним на этом пункте.

— Батюшка другого сказать и не мог,— тихо ответил Климов,— у него должность такая, чтобы говорить...

— То есть что значит — «говорить»? — ехидно выплюнул Прижанич вызывающим тоном.

— А то «говорить», что в этом у него вся должность и есть...

— Что вы одно и то же заладили? — оборвал Прижанич.— «Говорить-говорить»... Все говорят, ничего тут нового нет...

— Так я знаю, что нового нет ничего,— как бы извиняясь, проговорил Климов,— но что же вы хотите от попа?

— Не от «попа», а от священника,— перебил Прижанич.

— Ну, от священника,— согласился Климов, улыбаясь,— это, в конце концов, одно и то же.... Я говорю, что словами своими он только и живет, а что же ему делать, кроме того? Хлеб есть надо и ему... У всякого свое дело: рабочий, тот на заводе, положим, строит что-нибудь, нужные вещи готовит и за это получает, а поп... то есть священник,— этот своим ремеслом занимается, про закон божий...

— Что же, закон божий — ремесло? — вспылил Прижанич, и тонкие ноздри его задрожали от неподдельного гнева.

— Чепуха! — брякнул вдруг и неожиданно молча сидевший Чудров. Прижанич только скосил на него левым глазом, повел бровями, но ответом не удостоил — он не хотел размениваться на этого нового противника, которого считал совершенным мальчишкой. Надя внимательно следила за развертывающимся спором и не знала еще, не дала себе отчета, чье мнение для нее самой дороже и вернее. Когда говорил Прижанич, она была всецело на его стороне, потому что и сама думала так же, как он, привыкла уважать священника и кругом всегда видела к нему только

уважение. Но когда Виктор сказал про рабочих, что они выделывают какие-то полезные людям вещи, ее вдруг резнула мысль: «А что же, в самом-то деле, батюшка делает?» И она растерялась мысленно, еще напряженней ловила каждое слово, встревожилась, заерзала на окне... Виктор умышленно не хотел обострять вопроса: он от Чудрова знал, кто такой Прижанич, и опасался, что тот заподозрит, если резать уж слишком откровенно...

В те дни, особенно в последние тревожные дни, когда город был полон слухами о массовом наплыве подпольщиков-большевиков, хватали не только за открытое выступление, но и за всякое непочтение к религии, к Раде, к Добрармии... В каждом таком протестанте видели опасного злоумышленника и забирали немедленно...

— Вы спрашиваете, ремесло ли занятие священника? — отвечал он Прижаничу.— Не знаю... это кто как смотрит... тому, кто не верит ему,— это даже и не ремесло, пожалуй, я неточно сказал, это просто ненужное и вредное занятие... А тому, кто верит,— о! тому, разумеется, совсем другое дело.

— Ну, для вас, например? — сощурился Прижанич.

— А для вас? — увернулся Климов.

— Я религиозную проповедь ремеслом не считаю,— крепко, твердо отрубил Прижанич.— Я думаю, что в религии для человека весь смысл его жизни, и если религию отнять...

— Да, да,— вдруг задыхающимся шепотом заторопилась Надя и вся вытянулась вперед. Про нее за спором как бы забыли, и теперь Прижанич сразу оборвался на полуслове, посмотрев ей в широко раскрытые прекрасные и наивные глаза.

Посмотрел и улыбнулся, увидев, каким глубоко искренним вниманием одухотворено было Надино лицо. Но продолжать спора уж не мог, ему стало вдруг скучно от этой ненужной, казалось, и совершенно отвлеченной темы. Ему захотелось только одного — остаться с Надей наедине и продолжать те личные волнующие разговоры, которые вели они до прихода Климова.

— Простите,— вдруг повернулся он к ней,— мы тут занялись совершенно неинтересным разговором...

— Нет, нет, продолжайте, продолжайте,— скороговоркой, словно чего-то испугавшись и боясь что-то потерять, проговорила Надя.

— Не стоит, давайте о другом,— махнул рукой Прижа-

нич и выразил этим движением свое бесспорное превосходство, словно говоря: «Да что спорить? Я и без того все знаю!» А Климов улыбался. Чему? Наде была совершенно непонятна эта улыбка. После такого разговора, казалось ей, чему же было улыбаться? Но уж спор так больше и не возобновился... На какой-то основной вопрос Надя не получила ответа, и вопрос этот, как заноза, впился ей в сердце.

«Конечно, Коля прав,— думала она о Прижаниче, вспоминая его твердые, ясные, такие знакомые ответы.— Конечно, прав». А в то же время ей хотелось слышать больше, больше, ближе узнать что-то такое, чего Прижанич, видимо, не знает и что знает этот вот Климов, так спокойно отвечающий на все вопросы.

— Пройдемся,— предложил Прижанич, полагая, что собеседники отстанут.

Но когда Надя соскочила с окна, Климов и Чудров пошли вместе с ними. Пересекли зал с танцующими парами, углубились в другой коридор. Здесь было почти совсем темно, только где-то в глубине отсвечивало окно. Слышно было, как в отдалении пели знакомый мотив, но что это за мотив — разобрать не было возможности. Они, перебрасываясь фразами, добрели до самой двери наглухо закрытого класса и через окошечко увидели там кучку офицеров. На столике бутылки, нарезанная колбаса, баночки со шпротами, хлеб...

Четверо, обнявшись и развалившись на лавке, распевали вполголоса гимн.

— Эка приютились! — усмехнулся Климов.

— Позор,— брякнул ходульно Чудров,— надо бы им сказать...

— Что сказать, оставьте,— вмешалась Надя,— что нам за дело, пусть сидят...

Прижанич молчал, будто и не видел ничего, только зло, ехидно улыбался. Они повернули к светлому залу.

— Коля! — кто-то окликнул Прижанича. В стороне, рядом с толстым плешивым полковником стояла разодетая, густо напудренная дама — мать Прижанича.

Он шаркнул, извинился перед Надей и отошел. Потом догнал, сообщил:

— Мама просит ее проводить... Я очень извиняюсь, но должен идти. Как провожу, немедленно сюда. Вы ведь останетесь, не правда ли? — спросил он Надю.

— Да, да, конечно,— и по лицу ее чуть уловимой тонкой рябью пробежало грустное сожаленье.

Прижанич ушел. Надя, Виктор и Чудров продолжали ходить взад и вперед, но разговор как-то сразу увял и поддерживался с большим усилием. Виктор все обшаривал те пункты, на которых к ней всего удобнее было подступиться, но, заметив быстро упавшее настроение Нади, опасался быть назойливым и вел отрывочный, случайный разговор. Чудров рассказывал, как в учительской семинарии шесть человек ушло добровольцами в Красную Армию, как у них в реальном директор зазывал учеников в Добровольческую армию. Надя слушала его рассеянно и, казалось, думала совсем о другом. Теперь на последнем сообщении Чудрова она вдруг оживилась:

— Вот и Коля говорил, что у них то же.

— Этот Прижанич? — спросил Климов.

— Да... Он говорил: если только отступать придется, он непременно запишется.

— Ну, а как вы думаете,— спросил Климов,— почему вот он запишется, а мы с Чудровым, да, видимо, и вы сами, останемся здесь?

— Так зачем я запишусь? — пожала Надя плечами.— На что я нужна?

— Да он-то на что нужен?

— Как на что? — рассердилась Надя, и глаза заблестели недобрым огнем.— Затем же, зачем все,— воевать идет...

— Да полноте, Надежда Петровна, не все ж там воюют, что уходят с добровольцами.

— Ну, а по-вашему, зачем же?

— Страшно здесь будет... Оставаться страшно. Он ведь отлично понимает, что при Советской власти ему тут не житье, вот и уходит...

Надя помолчала. Скользнула по лицу не то раздраженность, не то растерянность, и тихо, раздумчиво она выговорила как бы про себя:

— Страшно... Почему страшно? И отчего это в самом деле такое беспокойство кругом идет и конца ему не видно?.. Когда только все установится?

— Трудно сказать,— серьезно ответил Климов.— Во всяком случае, скоро не установится. Посмотрите, не только ведь тут, а и кругом-то какое волнение — и на Дону, и на Украине, в Сибири, на Урале...

— А в Москве, что там слышно?

— О, в Москве другое дело... В Москве другое, совсем другое дело!

— Так почему же? — И Надя вопросительно посмотрела Климову в лицо.— Что там — люди, что ли, другие, отчего это так?

— Причин много, Надежда Петровна, а главное, что там рабочих много, и рабочих сознательных, готовых на все за свое дело...

— Вы так говорите, словно большевик,— усмехнулась она.

— Зачем «большевик»,— чуть стушевался Виктор,— я только объясняю вам, на вопрос ваш отвечаю...

— Какая все-таки эта революция долгая,— выпустила Надя наивные, как бы случайно сорвавшиеся слова. И вдруг поняла сама, что сказала пустое. Быстро спросила: — А что у вас там, в Новочеркасске, тоже неспокойно?

— Конечно, тоже... Теперь везде неспокойно, Надежда Петровна. Я думаю, и здесь скоро каша заварится...

— Да что вы? — встревоженно глянула на него Надя.

— Ведь красные-то подходят... Знаете вы это или нет?

— И близко?

— Недалеко... Город, видимо, будет обстрелян... Вот вам и каша.

— Ну, чем же, чем мы-то виноваты? — взмолилась Надя.— За что мы тут страдать должны? Да что же это такое?

— Без этого, знаете, не обойдется,— сказал ей Климов,— на то и война, чтобы люди гибли... Разве такие события даром проходят?

— Слушайте-ка,— перебил Чудров,— а не собраться ли нам, а?

— То есть как собраться? — спросила Надя.

— А вроде того, как офицеры... Они там «Боже, царя храни», а мы свое... поговорим, декламировать... петь...

— В самом деле, отлично,— согласилась охотно Надя.— Но где же?

— А я знаю где... Около физического кабинета, там совсем у вас глухой класс, двери наглухо, деревянные...

— Но там же электричества нет...

— А мы со свечкой... Я достану... Ну, идет?

— Я с удовольствием,— согласилась Надя.

Они живо договорились, кого можно пригласить, насчитали всего человек двадцать пять и порешили сейчас же взяться за сборы. Чудров побежал вниз, а Надя с Климо-

вым отправились в зал. Виктор еще раньше условился с Чудровым, что такую интимную вечеринку собрать необходимо, и потому при разговоре молчал, только когда она спросила его мнение, сказал:

— Отчего же, делайте... Только потише придется, неудобно...

Они ходили вдвоем по коридорам, по классам, спускались вниз, четыре раза встречали Чудрова — он носился разгоряченный, с красным лицом, с горящими глазами. На ходу шепнул Климову:

— Отлично идет. Двенадцать человек на месте...

Минут через двадцать в глухом холодном классе, где уж давно не занимались, при свете двух стеариновых свечей собралось человек тридцать молодежи; среди них было восемь девушек-гимназисток. На первых порах все чувствовали себя несколько странно, недоумевали, не знали, зачем собрались. Узнавали друг друга, удивлялись встрече, расспрашивали. И никто ничего не мог сказать о цели собрания.

Чудров оттащил к доске стул, вскочил на него, отрывисто заговорил:

— Ничего особенного... Мы, говоря откровенно, там, в зале, как на похоронах, а здесь давайте веселиться как следует, будем петь и декламировать, рассказывать что-нибудь, играть, хотите, а?

Все вздохнули облегченно, увидев, что «особенного» и в самом деле нет тут ничего. Всем очень понравилась мысль о такой товарищеской вечеринке, и уж через минуту весело гуторили, смеялись, некоторые даже предложили натащить сюда чаю и бутербродов. Но большинство запротестовало:

— Увидят — все пропадет... Не стоит, ребята, не надо...

Чудров не слезал со стула, он все еще не знал, как начать.

— Слушай, Петровский, начни ты первый... я знаю, ты отлично говоришь.

— Петровский... Петровский! — зашумело все кругом. Но Петровский отказывался.

— Да не ломайся, братец, что ты словно в зале,— сострил Чудров.

Все весело рассмеялись. Петровского протолкнули к стулу, затащили, поставили:

— Говори!

— Да что же я буду? Я, право, ничего не знаю.

— Ну-ну!.. «Не знаю»... А помнишь: «Друг мой, брат мой»?

Петровский пробовал было еще раз отказаться, но, видя, как назойливо все пристают, начал:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат!
Кто б ты ни был — не падай душой.
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей...

Он начал довольно вяло, но чем дальше, все больше и больше воодушевлялся, а стоявшие притихли, замерли, и последний стих прозвучал уж в гробовом молчании...

Мир устанет от мук, захлебнется в крови,
Утомится безумной борьбой
И поднимет к любви, к беззаветной любви
Очи, полные скорбной мольбой!

Кончил... Все молчали. Так молчали несколько секунд.

— Молодец!.. браво... браво!.. А ну, еще что-нибудь...

Но Петровский спрыгнул со стула и пропал в толпе. Снова вскочил Чудров, он был вполне доволен началом.

— Товарищи! — и остановился на мгновение.

— Я буду вас звать «товарищи» — говорят, у студентов, в университетах, по-другому никак не зовут... Я вот что, товарищи,— продолжал он, торопясь,— вместе с нами... тут у меня один приятель... знакомый хороший... литератор... Он тоже бы хотел...

— Просим!.. Отлично!..

Виктор медленно забрался на стул.

— Я скажу, товарищи, одно стихотворение, написал я его года четыре назад...

— Просим!.. просим!..— продолжали шуметь кругом.

При свете двух крошечных свечушек лица у всех были как восковые, а глаза особенно, по-кошачьему, блестели. Полумрак и вся эта необычайная обстановка действовали возбуждающе, и самое простое, обычное слово приобретало здесь какой-то чарующий смысл. Настроение повышенное, все ждут чего-то исключительного. Виктор минуту постоял молча, ждал, пока уляжется волнение, поерошив волосы, оглянулся кругом.

— Тише...— сказал он чуть слышно.

Все примолкли, подумав, что он успокаивал шум, но Климов уже начал стихотворение:

Тише... Огромное чудо свершается —
В темном лесу великан пробуждается,
Вздыбилась грудь, как волна...

Он еще дремлет под шапкой мохнатою,
Он еще сердцем и мыслью крылатою
Не пробудился от сна.
Полымем алым заря занимается,
Солнечный шар из-за гор подымается
Богатыря осветить;
В заросли хмурые, в дебри безродные
Врезать лучи золотые, свободные,
Светом от сна пробудить.
Слышите, по лесу словно шептание?
Это его, великана, дыхание
Шутит, играет листвой...
Слышите звон и биенье неровное?
Это колотится сердце огромное —
Чует восход золотой...
Тише... Рядами сомкнитесь готовыми...
С ярким светильником, с думами новыми —
Новая сила идет.
Встаньте торжественно, в полном молчании,
Дайте дорогу при светлом сиянии
И пропустите вперед...

Впечатление было неотразимое. Каждый понял, кто этот великан, что пробуждается к новой жизни. Но каждый понимал, конечно, по-особенному, по-своему. Декламировал Климов превосходно,— он сумел в слова свои вдохнуть такую силу, что образ дремучего великана стоял как живой, и когда говорил про шорохи лесные, про лесное шептанье,— всем почудилось, будто кругом зашумело, зашептало, зашелестело...

Надя стояла впереди, у самого стула, и восторженными глазами смотрела Виктору в лицо, а когда он окончил и проходил мимо, она схватила его за руку, крепко ее сжала, шепнула:

— Как хорошо!.. Как хорошо!..

Виктор остановился, посмотрел в прекрасные темно-серые глаза Нади и тихо ей ответил:

— Не так хорошо, как верно... Это главное!

Они отошли, присели на парту, разговорились.

Никто не хлопал, не шумели и «браво» не кричали — стихотворение подействовало совсем иначе: по двое, по трое оживленно говорили между собой, обсуждали, о чем-то спорили... Чудров уловил это настроение...

— Товарищи! — обратился он.— А не попросить ли автора дать нам свои объяснения, что-нибудь рассказать про великана?

— Да, да, очень хорошо... Просим!

— Идите,— подтолкнула его Надя и улыбнулась дружелюбно. Казалось, от недавней грусти не оставалось у нее

ни малейшего следа. Она была как под гипнозом, как зачарованная слушала то, что здесь восторженно, так юно, так увлекательно говорили со стула, из тьмы... Она смотрела на эти бледно-восковые одухотворенные лица ребят и подруг и не узнавала их, удивлялась им, поражалась тою переменою, которую в них находила... Виктор снова на стуле. Он взволнован. Общее настроение передалось и ему.

— Вы понимаете, конечно, товарищи,— обратился он,— о ком я говорю... Это стихотворение писано только в предчувствии, в ожидании... А теперь, когда мы с вами здесь, теперь пришло время, и великан пробуждается. Он на ногах и с поднятым высоко факелом гордо идет вперед, смело шагает к новой жизни... Он сокрушает препятствия на тернистом пути. И никакая сила перед силой его безмерной не устоит! С грохотом трескаются и лопаются устои гнилого старинного дома и рушатся, падают, в пепел стираются под чугунной поступью великана... Он придет к своей цели... придет... Вся Россия, миллионы поднялись на борьбу... Закружились вихрем события! Старый мир, наше мрачное подземелье, зашевелился со злобным шипеньем, как растревоженные гнезда змей: зашипел, заскрипел, обнажил ядовитые жала... Но не ему бороться с великаном, не ему великана победить... И мы с вами — молодые, полные жизни, надежд, полные лучших стремлений — мы с вами должны быть готовы к борьбе!! Неужели не хватит мужества выступить нам, у которых вся жизнь впереди, на которых так много надежды, неужели не хватит у нас сил придушить это шипучее ядовитое гнездо?.. Кубань накануне великих событий... Я знаю, что многие из вас не знают настоящей правды о великане, что идет сюда с зажженным факелом... Этот великан — рабочая сила, она движется грозно сюда стальною щетиной штыков, идет под красным флагом, вот где наше место, вот кому должны мы отдать свою молодость, свои силы, а может быть, и свою юную жизнь... Только тот творец жизни, кто жизни этой отдает свою силу, свой труд, а не сидит паразитом на чужом трудовом горбу!.. Многих из вас не качала нужда — все вы живете и спокойно и сытно,— а задумывались ли вы, откуда у вас это спокойствие, эта сытость?.. Нет, тысячу раз нет. А думать надо! Только подумав и поняв, можно выйти на дорогу жизни... Пусть не связывают, товарищи, вас никакие привычные узы — будьте свободными и свободно думайте над тем, как надо строить жизнь! Наша молодость, наша сила, вера наша в победу труда, наше горячее стрем-

ление быть счастливыми и счастье дать другим — пусть это все выводит нас на дорогу!!!

Гробовым молчанием ответили собравшиеся на климовскую речь. Все были глубоко взволнованы и в первую минуту, как кончил он, даже как будто растерялись, не знали, что делать, что говорить. Вдруг на стул прыгнула Надя.

— Он нас зовет,— энергично вскинула она правой рукой в сторону Виктора,— зовет к новой жизни... Спасибо, друг!.. Он разбудил в нас хорошие чувства и вызвал к жизни живую мысль... Но мы слепые. Мы же не знаем... Мы не знаем совсем, как это надо делать... Что нам делать, мы этого никто не знаем... Ведь одного настроения мало,— нам надо, чтобы путь указали... Так ли? Ведь мы же совсем слепые...

И один за другим, одна за другою — юноши и девушки — говорили со стула, рассказывали, как это смутное желание добра и правды, это стремление найти верный путь тревожит каждого, но гибнет беспомощно, потому что нет поддержки, нет совета, нет учителя... Климов выступал еще два раза и говорил, как этот путь к настоящей жизни надо искать, рассказал про борьбу рабочего класса — давнюю, упорную организованную борьбу... Его слушали с напряженным вниманием... Боялись проронить слово... Оживленные, взволнованные, полные странных мыслей и чувств, расходились они из полутемного класса. Всею гурьбой ввалились в светлый танцующий зал, где так резало глаза, где было так скучно и стыдно, а за что — не понять!

Как только миновали зал, Надя объявила, что идет домой, оставаться дольше не хочет.

— А Прижанич хотел вернуться? — посмотрел ей Климов испытующе в лицо.

— Может быть, вы со мной пойдете? — сказала ему Надя вместо прямого ответа и улыбнулась легкой дружеской улыбкой... Они спустились вниз, оделись и быстро-быстро направились к Штабной, всю дорогу обсуждая отдельные моменты, отдельные фразы, мысли, слова, что говорились на этом необычайном сегодняшнем собрании.

На следующий вечер Климов отправился к Кудрявцевым. Надя просила его приходить запросто, не стесняться, не чураться ее семьи. В условленный час Виктор был на месте, пришло человек пять-шесть и из участников вчерашней вечеринки в глухом гимназическом классе. И, странное дело, все как будто стыдились того, что вчера наделали; первое время старались об этом не говорить, не вспоми-

нать... Только Надя одна нет-нет да и заденет кого-нибудь или начнет вдруг рассказывать, какая она вчера была экзальтированная, как она все тонко чувствовала и переживала, как все вчера понималось и усваивалось быстро, точно и верно.

— Мне думается,— говорила она,— вот это вчерашнее состояние и есть то самое, в котором человек может решиться на большое, на трудное, даже на геройское дело!.. Ведь мы там *про себя* совсем забыли и не думали... Как бы другими стали, переродились, словно ни чуточки себе и не принадлежали, а захватил вот вихрь и мысли и чувства и понес, умчал, закружил... Ах, какое это было состояние! Я так бы хотела его снова пережить... А знаете что? — остановилась она.

— Ну, что, что?

— Я думаю, надо повторить...

В разговор вступило сразу несколько голосов. Виктор сознательно молчал: он вчера, провожая Надю, намекнул ей, что хорошо было бы создать этак небольшой товарищеский кружок, от времени до времени собираться и беседовать по тем самым вопросам, которые вчера так всех взволновали. Она восторженно приняла его мысль о кружке и теперь торопилась ее осуществить. Сделав как бы от себя это предложение и увидев, что отказа не будет, что все согласятся охотно, она тут же прибавила:

— А вот товарищ Климов тоже приходить станет... Хорошо? Станете приходить? — улыбнулась ему Надя.

— Что же, с большим удовольствием...

И получилось, будто кружок этот создали они сами, а его пригласили только «бывать» — по такой системе Климов создавал уже не первую группу. И с этого дня почти каждый вечер собирались они у Нади в комнатке, читали книжки, принесенные Виктором, обсуждали, спрашивали его, учились. Другая группа объединялась вокруг Чудрова, и была еще компания в четыре человека из слушателей учительской семинарии.

IV. Трое

С того самого вечера, как в гимназическом полутемном классе Виктор декламировал и держал девушкам и юношам восторженную речь, с того самого вечера Надя была неспокойна при встречах с ним. С тревогой, с затаенной

волнующей радостью ждала его прихода; как зачарованная слушала и все-все старалась понять, когда он, спокойный, серьезный, занимался с кружком; становилась тиха и печальна, когда Виктор поднимался, пожимая ей на прощанье руку. Она чувствовала к нему тонкую, нервную привязанность, она как-то быстро во всем привыкла ему доверять и сама не понимала, как это все так скоро случилось. Но привязанность Нади не была только сердечным влечением — она сама отлично понимала, что, кроме того, в отношениях к Виктору у нее что-то есть и иное, на это не похожее — более ценное, более серьезное и вместе с тем как бы более простое.

Живая, постоянно пытающая свои силы и постоянно силами своими недовольная, окрыленная радужными надеждами, верой в будущее и не верящая себе ни на грош в настоящем, она то и дело заглядывалась, любовалась на чужие достоинства и видела их там, где не было даже признака этих достоинств. Часто звонкую самоуверенность она принимала за настоящую силу; хвастливую, болтливую развязность могла принять в другом за «свободный» дух; мрачное и беспричинное недовольство — за глубину и серьезность натуры,— словом, каждое внешнее проявление в другом она готова была посчитать за признак внутренних и незаурядных достоинств.

В каждом человеке старалась Надя видеть и находить те «добродетели», что возвышали его и оправдывали. Но из всех близких один постоянно преобладал над другими, выделялся из этих других на целую голову, выше всех рисовался в Надином воображении.

До гимназического вечера таким духовным гигантом стоял перед нею Прижанич: его находчивость, его уменье на любой вопрос дать понятный и как будто бесспорно верный ответ, вся его манера твердо и уверенно держать себя среди других — это рисовало Прижанича в глазах Нади человеком особенных, чрезвычайных достоинств и дарований. И она искала у него ответа на все вопросы, что тревожили или просто занимали ее. Но за последнее время, когда на сцену появился Климов, она увидела и поняла, что у него, у Климова, еще точнее, еще вернее и неопровержимее эти ответы на любой вопрос. И ответы Климова родятся откуда-то совсем-совсем из других источников, построены не так, как у Прижанича. И Надя раздвоилась: первые дни не знала, куда ей деться со своими мыслями, каким доводам верить, чью сторону взять, когда между

Виктором и Прижаничем разгорается спор· А спорили они немало. Встречались и у Нади, встречались и случайно на улице.

Как-то вечером, в такой час, когда воспрещено было ходить по городу (военное положение готовилось перейти в осадное, и режим надзора сгустился до последней степени), Виктор и Надя бродили вдвоем под окнами и вели между собой нескончаемый разговор, перебрасываясь с одной темы на другую, ни одной не доводя до конца. С противоположной стороны от забора отделилась вдруг человеческая фигура и направилась к ним. Это был Прижанич. Он где-то добыл себе разрешение и теперь имел право в любой час ходить по городу.

— Вечерний моцион? — постарался улыбнуться он, ближе подходя к Наде и Виктору. Но улыбка не удалась.

— Разговоры разговариваем,— ответила Надя весело, сама первая подавая руку.

— Слышал... Еще от угла услыхал... разговоры... Здравствуйте,— протянул он Климову руку.

Тот молча подал свою.

Как только подошел Прижанич, разговор сбился с темы и уже не мог возобновиться в той форме, как они вели его прежде. Прижанич рассказывал какие-то «интересные случаи» о своих отношениях с мамашей, раза два касался вопроса о Раде, но все это выходило как бы мимоходом у него, отрывисто, даже зло. Словно говорил он и сам не знал, зачем это говорит, а вот главное, что-то самое главное — так и не мог сказать. Как только увидел он Надю два-три раза вместе с Климовым, не мог он с тех пор держаться с нею по-прежнему: вместо ласковых и нежных слов все хотелось ее оскорбить, наговорить ей дерзостей, за что-то больно-больно отомстить. А еще больше злило то, что сама-то Надя, казалось, и не видела, не чувствовала этого в нем состояния — она, как прежде, так же весело с ним встречалась, так же охотно разговаривала, и, пожалуй, даже разницы не было никакой между теми встречами, что теперь, и теми, что были раньше...

«Ну нет, раньше было совсем другое,— думал Прижанич,— она тогда не только была весела, но и рада была нашим встречам... она их хотела, она их ждала, она заботилась сама, чтобы эти встречи были, а теперь и встретиться и не встретиться — ей все равно... Это Климов... У!.. Черт его дери! И чего ему тут нужно... треплется каждый день...»

Прижанич, конечно, видел, что Климов его вытеснил с первого места и поглотил всецело Надино внимание, но он никак не мог помириться с этой мыслью и не мог допустить, чтобы он, Прижанич, и вдруг оттеснен каким-то замухрышкой-литератором. Нет, нет... это случайность, это баснями затуманили Надину голову, и надо ей во что бы то ни стало объяснить, показать, рассказать... Но что же? И как все это сделать? Он настойчиво продолжал добиваться каждый раз и где только можно было свидания с Надей: ловил ее на улице, встречал ее по пути из гимназии, приходил к Кудрявцевым и все не терял надежды вернуть ее, образумить, рассеять климовский туман... Зачем была она ему? Он этого и сам не мог бы сказать, ибо «любви» никакой у них не было, он просто чувствовал себя оскорбленным ее предпочтением Климову. И единственно из самолюбия, уязвленного самолюбия, продолжал свои ухаживания за Надей. А еще следил он за Климовым. Как ни сдерживался Виктор при спорах с ним, но не мог он, разумеется, поддерживать ту чепуху, которую авторитетно нес Прижанич. И как ни старался своим возражениям и пояснениям придать характер полного бесстрастия, выходило, однако же, таким образом, что все, что говорил Прижанич, навыворот понимал Климов, и наоборот. В Климове чувствовал Прижанич врага и решил теперь свести с ним счеты. Он сегодня пришел сюда не просто поговорить, повидаться с Надей,— у него созрел план на иное дело. От кого-то из знакомых Кудрявцевых он услыхал, что к ним собираются кружком, читают, спорят, обсуждают разные вопросы. Заходя от времени до времени к Наде, Прижанич никого там не встречал, кроме ее подруг и двух-трех реалистов,— словом, той публики, которая и раньше всегда бывала у Кудрявцевых. Он даже мысли не мог допустить, чтобы эти «молокососы» могли заниматься чем-нибудь серьезным. Он предполагал, что собирается какой-то другой, тайный, «кружок», и в центре этого кружка представлял себе Климова. За последние дни, когда настроение в городе взвинтилось и когда в соответствующих кругах поговаривали о близком и неизбежном отступлении, Прижанич не раз и не два толковал на эту тему с мамашей, и они, конечно, также порешили уезжать из города вместе с Добрармией. Все «молодое и благородное» призывалось под знамена, во всех школах велась усиленная агитация за вступление в ряды Добровольческой армии — не устоял против этого искушения и Прижанич; он вот уже больше

недели, как зачислился агентом охранки. И теперь на кудрявцевском деле он решил разом убить двух зайцев: во-первых, выслужиться и продвинуться вверх, завоевать известную «славу», а во-вторых — отомстить и Наде, и Климову, и всем, всем, всем за кровную обиду, что была ему нанесена, за пренебрежение, ему оказанное... Поболтав теперь о разных пустяках, он пытался перевести поудобней разговор на политическую тему. Это было сделано легко, ибо Надя хваталась за темы эти с жадностью, а Климов вообще не начинал сам никакого разговора и в то же время в каждом разговоре участвовал охотно.

— Слышно, что красные получили здоровенную баню за Тимошевской,— сказал он.

— Вот как слухи противоречивы,— усмехнулся Виктор,— а я слышал, что всё продвигаются...

— Откуда слышали?

— Да на улице... кучка стояла... говорили...

— Чепуха... пустые слухи!..

— А что это,— спросила Надя, как будто совсем наивно,— стрельба очень слышна стала, значит, близко, а? Вы знаете, Коля?..

— Это... это пробная... новые орудия привезли... массу орудий привезли... пробуют... Об этом же объявлено по городу, разве не читали?

— Нет.

— А... так почитайте... как же, везде расклеено...

Виктор улыбнулся чуть заметно, и Надя, заметив эту улыбку, улыбнулась сама.

— Я слышала еще,— сказала она, обращаясь к Прижаничу,— будто некоторые из членов Рады поспорили, что ли?.. Уехали совсем по станицам: не хотим, говорят, больше ничего... едем, и только. Что это, Коля, отчего так?

— Да кто вам такую чепуху говорит? — с силой прорвался Прижанич.— Откуда это? Рада... да Рада как стальная... Макаренко вчера на вечернем собрании говорил, в слезы весь зал ударил... Вот говорит! Как один человек поклялись: умрем за Кубань, а не отдадим!

Но когда Климов по ходу разговора вынужден был впутаться в обсуждение вопроса о «единстве» Рады, Надя, дрожа от радости и гордости, почувствовала все превосходство его логики и доводов надо всем тем, что говорил Прижанич.

— Кубань едина,— доказывал Прижанич,— она не хо-

чет никого, кто бы вмешивался в ее дела... Сама справится со всеми.

— Кубань единой быть не может,— говорил Климов,— имущественная рознь, вы сами знаете, неодинаковая обеспеченность — все это не может дать единства...

И простым, но убедительным словом Климов рассеивал всякую муть, весь туман, что оставался от слов Прижанича.

— Какое тут единство,— говорил он,— когда друг дружке готовы горло перегрызть! И это ведь независимо от злой или доброй воли Макаренко, Быча или кого другого... Они, может быть, самые прекрасные люди... Не в этих личностях дело — дело совсем в другом. Различное имущественное состояние (Виктор умышленно сглаживал и упрощал вопрос) по-различному настраивает и каждую имущественную группу. Разве мало здесь, на Кубани, самой настоящей бедноты, у которой положение ужасно и которая выхода из этого положения не знает и не видит, не находит, кроме открытой борьбы... Так всегда в природе и в обществе кругом идет непрерывная неизбежная борьба: одно нападает, другое сопротивляется, одно побеждает, другое гибнет.

— Да разве я отвергаю, что жизнь — борьба? — фальшиво возбуждался Прижанич.— Борьба... за лучшее будущее, за счастье...

— Борьба не только человека с природой,— добавлял Виктор,— но еще и человека с человеком,— вот именно то самое, чему теперь мы с вами свидетели...

— Ее не было бы, этой борьбы, если бы большевики не лезли на Кубань!..

— Они, видимо, не могут не лезть,— как-то небрежно уронил Климов.

— Как не могут? Кто их зовет? Кто их толкает сюда?

— Да неужели вы не знаете — кто и что? — посмотрел в глаза ему Климов.— Нужда гонит, опасение, что отсюда, с Кубани, собравшись с силами, на них могут походом пойти. И потом, что значит *гонит* — разве мало здесь своих, доморощенных?

— Так, черт возьми, что же Кубань — харчевня, что ли? — вспылил Прижанич.

— Зачем харчевня... обмен... одно за другое... Я думаю, что так... во всяком случае, я сам себе так объясняю... нельзя же все объяснять злой и доброй волей человека, тут и другое есть.

— Другое...— проворчал Прижанич и не нашелся что бы еще можно было сказать, а Климов продолжал свою мысль.

— Даже и не опасения и не голод, пожалуй, *у них* главное, а главное то, что дело тут общее — *общее дело,* вот что! — с силой подтвердил Виктор.— И не может быть по-другому. Теперь вся Россия старая пополам — и Кубань, и Сибирь, и Украина — везде пополам: две половинки — одна белая, другая красная... И белая на всю Россию, и красная на всю. Одна с другой перепутались, но уж непременно по всему тут фронту одна против другой! Будет Дону большая опасность от красных, разве не пойдет на помощь отсюда Добровольческая армия?

— Пойдет! — повел губами Прижанич.

— То-то и дело, что пойдет, неизбежно пойдет, потому что дело общее... Все едино и там, у красных, у них тоже дело общее.

— То есть как общее? — перебил Прижанич.— Это здесь, на Кубани, да с кем же общее-то оно?

— Ну вот с теми, что дожидаются Красной Армии... А такие есть, что дожидаются... Кабы их не было, да разве не поднялась бы теперь Кубань, как один человек? Эге, давным бы давно... А ведь молчит... видно, ждет...

— Не ждет, а устала,— поправил Прижанич.— Измучили ее... Вот передохнет, тогда...

И он, не доканчивая своей мысли, только мотнул головой, давая понять, что «тогда» совершится что-то необычайное.

Из окошка высунулась Анна Евлампьевна.

— Надь!.. шла бы, уж поздно,— окликнула она.

— Сейчас, сейчас иду, мама... Вы что же,— обернулась она к спорщикам,— вы продолжайте, она ничего... подождет...

Но вдруг остановившийся спор не возобновлялся.

— Пожалуй, и верно поздновато,— встряхнул Прижанич левым рукавом и посмотрел на ручные крошечные изящные часики.— А как же вы домой? — обратился он к Виктору.— У вас разрешение?

— Никакого,— усмехнулся тот,— я вот рядом... приятель...

— Кто это?

Виктор вскинул на него глаза и вдруг от этого вопроса насторожился, почуяв что-то неладное.

— Приятель. Да вы не знаете...

— Ну, я пошла, всего хорошего,— проговорила Надя и подала руку первому Прижаничу.

— Вы отчего не заходите, Коля?

— Да я же недавно был, всего четыре дня.

— А вы чаще... что тут...

И, поспешно пожав ему руку, она прощалась крепко с Виктором... Прижанича рванула обида:

«Со мной простилась, словно отделаться только хотела... И слова как на ветер кинула, а с ним?..»

Надя не выпускала из своей руки руку Виктора, смотрела ему в глаза, говорила что-то, раньше обоим знакомое:

— Часов в пять, хорошо? — и, кивнув головой, пропала в калитку.

Прижанич молча простился с Климовым и зашагал по направлению к Красной. А Виктор, обождав, пока он скроется, отворил калитку и через двор, как это он часто делал по вечерам, вышел садом в соседнюю улицу, где на квартире у Еремеевых вот уже неделю как поселился под чужим именем Пащук.

Подкрался Виктор к окошку, стукнул три раза подряд и три раза тише, вразбивку,— условный знак, по которому Пащук открывал двери не спрашивая.

— Где ты, кобель, пропадаешь? — встретил он Виктора.— А Паценко ищет... Сейчас же лети... Он у Караева должен быть. Ждет тебя непременно и пропуск оставил. На!

Пащук подал Виктору пропуск, добытый в штабе через Владимира, и прямо из коридора повернул Климова за плечи обратно к выходу.

Когда Виктор добрался на Дубинку, он в самом деле Паценко застал у Караева.

— Собирайся,— встретил его Паценко.— Сегодня же на Крымскую... Я получил сведения, что будем брать через два дня... Отвези весь материал, тут у меня все отмечено подробно, как будем действовать в самом городе. Впрочем, едва ли и задержатся: надо быть, судя по Раде, сами уйдут... Но на всякий случай вези, остальное расскажешь... В половине двенадцатого идет транспорт в ту сторону... Ты пока с ним... Владимир и сам едет; вот он тебе документы... а там сговоритесь, когда остановка будет... Ну, айда!..

Через минуту Виктор снова был на улице, шагая по указанному пути.

V. Обыск

На следующий день в доме Кудрявцевых совершилось нечто совершенно несообразное. Когда Анна Евлампьевна возилась с обедом, ожидая «Петрушу» с Надей, а Павел, по обыкновению, отлеживался на диване, вдруг завизжала калитка, застучали громко по ступенькам, по крылечку, в коридоре, настежь распахнули дверь, и трое незнакомых быстро подскочили к Анне Евлампьевне:

— Ты хозяйка?

— Я, а чего-то вы, соколики? — и с недоумением переводила она испуганный взгляд с одного лица на другое.

— На, гляди,— сунул ей в руку билет высоченный детина в поддевке, в мохнатой шапке, в ремнях, с револьвером на боку. Двое других — в шинелях, в кубанках — молчали.

— А я... чего я...— перевертывала она в руках билетик, не зная, что с ним делать.— Я вот позову... Павел!.. Павлуша!.. — крикнула сыну. — Чтой-то пришли, спрашивают...

— О... о... о! — отозвался Павел Петрович, не подымаясь с дивана.

— Ты поди глянь, бумаги, надо быть,— выговаривала она что-то и самой себе непонятное, разглядывая маленький билетик, где красовалась фотографическая карточка и зеленела печать.

— А... а... а? — недовольно потянулся Павел, но с дивана все же не поднялся.

— Да ты поди сюда... Что ты, господи помилуй...

Послышалось вялое ворчанье Павла и отдельные слова, вроде:

— Опять тревога... отдыху нет... вздохнуть-то не дадут как следует...

Наконец он появился — с опухшим от сна лицом, мутными глазами, босой, в нижней рубашке, с подтяжками на плечах, волосы на голове дико были взъерошены. Молча и попеременно посмотрел он каждому в лицо.

— Вы к кому?

— Сюда, к вам,— ответила резко папаха.

— Ко мне? — уставился на него Павел.

— Не к вам одному, а к целому дому... Да ты смотри билет-то,— оборвал он резко и дернул билетик, что дрожал в руках у Анны Евлампьевны.

Павел взял бумажку с печатью, заглянул, понял, с кем имеет дело, и вдруг лицо его стало бледно, а губы запрыгали. Он глянул исподлобья на вошедших, проговорил:

— Кого же тут... Нас вот вся семья... Сейчас отец придет да Надежда... сестра...

В это время дверь отворилась, и в комнату вошел офицер. Не здороваясь ни с кем, он обратился к папахе:

— Немедленно произвести обыск... тщательный... да всех задерживать, кто придет!

Позвали со двора двух солдат,— там их стояло человек пять-шесть,— и началось... Анна Евлампьевна настолько растерялась, что позабыла про свою печку, про обед, и на кухне творилось у нее что-то невообразимое: с подшестка свалился горшок, разбился, и пролитый суп ручейками бежал в комнаты; занавеска, что висела у самой заслонки, как-то угодила краем в печку и затлелась — дым и вонь заполнили весь дом, и никто не знал, откуда этот дым, да и не до дыму тут было. Анна Евлампьевна сама не своя подводила незнакомцев то к сундукам, то к шкафу, к разным узелочкам и беспомощно, будто в чем-то оправдываясь, лепетала:

— Приданое... тридцать лет лежит... только в пасху да на рождество...

— Ладно, старуха, не лепечи, без тебя знаем, где что искать,— ответил ей тот, что разрывал сундук с приданым,— парень лет тридцати, смуглый, черноглазый, с хитрым цыганским выражением лица. Подошел от стола и второй агент: низкого роста, широкоплечий, с пьяными водянистыми глазами, без двух передних зубов.

— Скулит? — мотнул он головой в сторону Анны Евлампьевны.

— А нехай поскулит, перестанет,— ухмыльнулся цыган, разбрасывая вещи из сундука.

В это время детина в папахе, видимо бывший у них за главного, рылся за образами, выбрасывая оттуда какие-то узелочки, перевязанные пучки «святых» церковных свечей, разные бумажки и тряпочки, что хранились там у Анны Евлампьевны с незапамятных времен.

— Ишь, напихали,— приговаривал он, просматривая бегло всю эту ветхую, пыльную рухлядь.

— На-ко, чего-чего нет!

— А тут что, тетка? — крикнули они Анне Евлампьевне, указывая на запертый шкафчик под киотами.

— И ничего тут...— залепетала Анна Евлампьевна.— Ничего, ей-богу, ничего, одна вода святая...

И как выговорила, слезы хлынули ручьем, грязным

фартуком размазывала она их по лицу, сквозь рыданья приговаривала:

— Одна вода... Одна святая... Иконку-то бросили...— нагнулась она и подобрала крошечный образок, сброшенный со стены.

— Ну-ну, потом соберешь,— грозно гаркнула папаха.— Ишь разревелась... Открывай шкаф!..

— Да, право, тут...

— Открывай, черт! Разломаю!

Анна Евлампьевна поспешно достала из шкатулочки связку ключей и отперла заветный шкафчик, где хранились у нее разные святые водицы, крошечный медальон с волоском святого старца, баночки с песком чудодейственным из Оптиной пустыни, разные ложечки и крестики от Троице-Сергия — немало, словом, разных вещиц, к которым прикасалась она, как к святыне, с благоговением, не иначе как с молитвой и трепетом, да и то в самых редких, исключительных случаях жизни. И теперь этот чужой, злой человек с мохнатыми грязными руками выбрасывает одну за другою драгоценные, так бережно хранимые ею вещицы. Анна Евлампьевна не могла дальше вынести: смертно бледнела, долго дрожала мелкой дрожью и как стояла, так и грохнулась навзничь, посреди юбок, узелков, картин, чайников, святых вещичек из шкафчика...

— Ну, отлежишься,— прохрипела папаха, продолжая работу.

Павел кинулся было на кухню за водой.

— Эй, куда? — окликнул его беззубый.

— Воды... воды ей надо,— показал он на лежащую без памяти мать.

— Ничего, полежит...

— Как полежит? Я ей воды сейчас...

— Не ходи, говорю, аль не слышишь?! Вот кончу, вместе сходим.— И он продолжал перебрасывать вещи из маленького сундука, навалив целую груду и зачем-то иные откладывая в сторону. Цыган подтолкнул его в бок, хитро улыбнулся, указывая на Павла, и тотчас же кивнул в сторону кухни: «Иди, мол, иди...»

Беззубый, видимо, понял сразу, о чем говорил ему цыган.

— Ну, за водой-то,— обратился он к Павлу.

И когда те вышли в кухню, цыган поспешно начал обрывать с кофточки золотые брошки, потом выхватил со дна две коробочки, раскрыл, глянул, ухмыльнулся и все

это быстро запихал в карман. Папаха рылась уже по шкатулкам, вытряхнув остатки из священного шкафчика; она тоже оглядывалась зорко и тоже что-то распихивала по карманам.

Анну Евлампьевну не удавалось долго привести в себя, а когда очнулась, такая во всем теле была слабость, что не могла стоять, и Павел положил ее на диван. Не то дремала в изнеможении, не то заснула, лежала недвижимая, ни слова не говорила, не отзывалась... Приподнялась только тогда, когда в самый разгар погрома явились один за другим Надя и Петр Ильич.

Надя догадалась быстро, в чем дело, — на эту тему с Виктором они говорили не раз. Не сказав ни слова, хотела проскочить к себе в комнату. Но ее задержали и оставили тут же, где разрывали шкафы и сундуки. Она прислонилась к двери, нервно передергивала края носового платка, переступала с ноги на ногу и разгоревшимися, заблестевшими глазами следила, как эти незнакомые люди расшвыривают все, что долгими днями укладывала, пересыпала, обертывала и увязывала бедная Анна Евлампьевна. А старик как вошел, так и обомлел.

«Воры!» — решил он про себя и закричал бы, если б Павел не приложил палец к губам и не дал ему знать, чтобы молчал. Только тут понял старик, что произошло что-то исключительное.

— Это ужасно... Что это?! Господи... господи... — шептал он, грузно обмякнув в кресле и нервно подергиваясь головой в разные стороны. — Так за что это? — вдруг спросил он и, поднявшись с кресла, кряхтя и охая, подступил к сыщикам.

— Приказано, — отрубила папаха, —вот и делаем. А ты сиди, старик, сиди, не болтай лишку...

— Да ищете что? — с сердцем спросил Петр Ильич.

— Что попадет, — урезонил его беззубый, перебрасывая с руки на руку и вытряхивая перед собой кофточки, юбки, платочки.

— Так, господи, что же это такое? — сквозь слезы вздыхал Петр Ильич, снова бессильно падая в кресло.

Когда здесь все было перерыто, отправились в комнату Нади. И так же, как возились они с юбками Анны Евлампьевны, расправлялись теперь с письмами, книгами, записными книжками: все это пересматривали, кое-как и наспех перечитывали, пакостно улыбаясь, найдя какую-нибудь интимность в переписке. Но все это было не то,

что искали контрразведчики. Желанное не попадало. Глубоко потрясенная, Надя прислонилась к подоконнику, выглядывала оттуда запуганными, растерянными глазами.

И так ей стало горько, что чуть не разрыдалась, а потом вдруг опустилась вся, ослабела, даже перестала эту острую боль ощущать и стояла как бы в забытьи, видела и не видела, как один за другим открывались ящики — и в стене и в столе, как оттуда выбрасывались пачки драгоценных для нее живых документов и как их, словно торговка яйца на пробе, сначала рассматривали на свет, видимо не доверяя тому, что в конверте не одна, а две, не две, а три бумажки; потом выхватывалось письмо, часто раздирался хранимый конверт и отбрасывался в хлам, а письмо живо повертывалось в руках, и, когда было прочтено, оно делалось в глазах Нади скользким, отвратительным... Операция происходила в молчании. В комнате, кроме беззубого и цыгана, присутствовала одна только Надя: старики остались возле сундуков и теперь, охраняемые папахой, ползали там по полу, со слезами собирали разбросанные вещи, оттаскивали их в груду. Ползут-ползут навстречу друг другу, столкнутся, посмотрят в лицо — и слезы закапают, потекут по морщинам... Павел в это время, как и Надя раньше, хотел пробраться к себе, но его, как и Надю, задержали; выпустили его лишь тогда, когда выворочена была всем нутром наизнанку вся крошечная Надина комнатка. Оба сыщика перешли к Павлу, а Надя одна так и осталась, застыв у окна, — недвижимая, окостенелая.

Ничего опасного не нашли и у Павла. Становилось ясно даже агентам, что весь обыск идет впустую или по ошибке, или по сознательно ложному доносу. Но для того чтобы все проделать по форме, вскрыли в дому несколько половиц, заглянули и туда; под полом также было «место свято» — никаких провинностей. Залезли на чердак, ощупывали там печные трубы, даже вынимали наугад кирпичи, потом ковырялись в песке, засматривали за все перекладины — нет ничего, пусто кругом!

Детина в папахе уселся за стол, составил протокол, дал прочесть цыгану и беззубому; втроем подписались. Как будто все было покончено. Казалось бы, что теперь, после такого долгого и неудачного обыска, можно им было уходить восвояси, но они и не думали трогаться, только расположились поближе к дверям, начали шепотком переговариваться между собой.

Засада!

Но и засада не дала никаких результатов, получился даже курьез: соседка Пелагея Львовна Ниточкина забежала спросить, не перелетела ли сюда во двор через изгородь рябая хохлушка-курица. И как только вошла за калитку, немедленно была задержана и препровождена в комнату, где сидела папаха. Тот учинил ей допрос: откуда родом, давно ли знакома с семьей Кудрявцевых, как часто у них бывала, зачем пришла теперь и прочее, и прочее. На обезумевшую от страха Пелагею Львовну было смотреть и скорбно и смешно: ответы у ней были невпопад, вопросы она наполовину не слышала, наполовину вовсе не понимала, так как не могла никак уяснить себе, зачем и кому потребовались все эти сведения. Продержали Ниточкину до позднего вечера, пока не пришел снова тот офицер, что отдавал приказание об обыске; он после нового допроса отпустил измученную Пелагею Львовну.

Найти кое-что, пожалуй, у Кудрявцевых и могли бы. У Нади в записной книжке, среди всякого рода заметок — о Достоевском, о любви, о половом влечении — были записаны и те соображения, которые Климов высказывал ей в личных беседах или развивал на собраниях кружка. Но все это сыщики пропустили, бегло просматривая написанное и разыскивая, видимо, как раз только те места, где говорилось бы про любовь, про отношения Нади к близким ей людям. А потом, глядя на нее, наивную, юную, видимо, не допускали, что тут может скрываться какой-то «враг», что у Нади могут оказаться какие-то «дела». На этот вечер кружок собирать не предполагалось, и когда Надя говорила накануне Виктору: «часов в пять...», то речь шла об установленной прогулке на берег Кубани. У Нади ничего не нашли еще и потому, что, по совету Виктора, никогда и ничего на квартире у Кудрявцевых собравшиеся не оставляли. Книжки, которые могли бы повредить делу, приносил и уносил или сам Виктор, или прятал за пазухой Чудров. Но занятия велись, положим, не только по этим книжкам. Виктор любил и такой способ: возьмет какую-нибудь дрянненькую белую брошюрку, прочтет, а потом и начнет разъяснять, в чем ее несостоятельность, слабость или вред. Слушающие обычно все его мысли отмечали и записывали в книжечки или на листки и по этим запискам разбирались дома, а уж на следующем собрании разгорались по этому кругу вопросов разносторонние жаркие споры. Сегодня из членов кружка никто

не приходил. Не пришел и Виктор. Всего больше опасалась Надя, что он, не найдя ее в условленном месте, придет сюда. Тогда... Она не знала, что будет «тогда», но содрогалась от одной мысли, что Виктор может попасть «им» в лапы. Хотя ни разу не говорил он ей о своей принадлежности к подпольной организации, не говорил о том, что большевик, но уж давно поняла, почуяла чуткая Надя, что Виктор чего-то недоговаривает, что, несмотря на свою, казалось бы, полную откровенность с нею, он оставляет что-то «про себя», не сообщает ей. В этих мыслях не столько утверждали ее занятия Виктора с кружком, сколько разговоры их, долгие разговоры с глазу на глаз, когда ходили они по переулкам или по берегу Кубани. И особенно когда начинал ей Виктор рассказывать про эти вот прокламации, листовки, воззвания, что каждое утро развешиваются по заборам Краснодара: он говорил, как, должно быть, трудно все это выполнять, прятаться, каждую секунду ожидать, что накроют, и все-таки упорно делать, делать, делать свое дело! В эти минуты казалось Наде, что он рассказывает про себя, что он сам связан с такой организацией и с таким делом. Но не спрашивала его. А Климов сам никогда об этом не проговаривался. И теперь Надя чувствовала, что несдобровать ему, если угодит в руки засады. Но Виктор не шел. И рада она была тому, что не приходил, и в то же время хотелось видеть его: в эту горькую минуту было бы так хорошо с ним поговорить!

«Нет, нет, не надо, пусть лучше не надо сегодня!» — подумала она.

На этих мыслях оборвал ее чей-то громкий голос, доносившийся из спальни стариков. Это офицер допрашивал Пелагею Львовну.

— Часто ходишь?

— И где часто, — заторопилась старуха, — когда тут? Ты и на базар, ты и...

— Будет болтать, отвечай дело, — оборвал ее офицер и, увидев вошедшую Надю, впился глазами, сладострастно обшарив голову, грудь, весь стан до носков, посмотрел в глаза.

— А вы... вы тоже здешняя?

— Дочь, — из угла ответил за Надю Петр Ильич. Заметил старик остановившийся на дочери офицерский взгляд и хотел теперь одного — чтобы ушла она скорее...

— Вот вы и свидетельницей будете у нас, хе, хе, хе... Показывать будете, как все было...

— Так отпусти же, ваше благородие, — взмолилась Пелагея Львовна, — ей-богу, отпусти скорее!

— Старуха! — прикрикнул офицер.

Та вдруг съежилась, смолкла.

— Вам известна эта личность? — обратился он с улыбкой к Наде и оскалил под рыжими редкими усиками ряд уродливых полугнилых зубов. Синие глазки замаслились, сощурились, расплылся еще шире широкий рыхлый нос... Все лицо резко изменилось от этой улыбки, стало хищным и жестоким, как у коршуна.

— Да это же соседка , Пелагея Львовна, — тихо ответила Надя. Сказала и *так* посмотрела офицеру в глаза, что он перестал улыбаться.

— А зачем она к вам шляется... эт...та соседочка?..

— Не знаю, спросите, видно, дело есть.

— Дело?.. Гм... — Он фронтально покрутил усы, закинул голову, спросил: — А как вы думаете, что у нее может быть за дело?

— Так я же тебе, ваше благородие, говорила, что курица у меня... хохлушка, — взмолилась было Пелагея Львовна.

Офицер крикнул:

— Ты замолчишь, карга? Кого я спрашиваю?!

Пелагея Львовна пригнулась, пропала в платок.

— Ну? — уставился он на Надю.

— Не знаю...

— Так, гм... так... не знаете?

И снова покрутил тараканьи усики.

— Ну, ладно, не злой я человек. Иди, старуха, да больше чтобы куры у тебя через забор не летали, слышишь?

— Слышу, батюшка, слышу, все поняла... все... родимый, все, — приговаривала на ходу Пелагея Львовна, торопясь к двери, боясь, как бы не задержали снова.

— Протокол готов? — обратился офицер к папахе.

— Так точно! — подал тот исписанную бумагу.

— Все проверили?

— Так точно, и очень внимательно.

— И у них? — скосил офицер на Надю прищуренные масленые глазки.

— И у них, так точно...

— Впрочем, я сам еще проверю!

Встал, гнило улыбнулся и направился к Наде в комнату.

— Останьтесь здесь, я один, — обернулся он к сыщикам, которые поднялись было вслед за ним.

И Надя хотела остаться, но как же это... Как пустить его одного в эту комнату, как ему все доверить?

«А впрочем, не все ли равно, буду я или нет? Он же все сделает, что хочет. Ну, что я могу сказать ему?»

— Папа, укажи ты, — обратилась она к отцу.

Старик вдруг встрепенулся, хлопотливо залопотал:

— Да, да... я сейчас... я все покажу... А ты тут... а ты тут...

— Нет, вы сидите, — повернулся офицер. — Я хочу с самой хозяйкой... Вы сама мне все будете показывать... Сама... А папа потом...

— Да не хочу я! — крикнула Надя.

— Это как «не хочу»? — взглянул на нее офицер.

— Не хочу! Не стану я, вот что! Не стану, не стану!!

— Надя... Нельзя этого, — вмешался Павел. — Нельзя... Сейчас ты обязана, раз тебе говорят... Понимаешь?.. Ну, успокойся, что ты?

Было так тяжело от своей круглой беспомощности, так было обидно, что одну минуту Надя едва не разрыдалась, но вдруг, не сказав ни слова, она быстро вперед офицера прошла в свою комнату.

— Что вам нужно? — спросила, и голос задрожал угрозой. — Что вам еще нужно? Они же искали... Все вывернуто... Чего еще?

— А вот, значит, надо, — с деланным спокойствием отвечал офицер, наклоняясь к рассыпанным, не убранным с пола бумажкам. — Переписка? Изволили переписываться?

— Видите...

Он взял одну, другую, третью записки, пробежал глазами, положил на стол...

— Вы учитесь? — спросил вкрадчивым, сладеньким голосом.

— Учусь...

— Где?

— В гимназии...

— Так-с... Это отлично... это очень даже отлично... Только вы, можно сказать, совершенно напрасно со мной

такие резкости! Зачем они? И за что они? Разве я хоть сколько-нибудь виноват? Ну, подумайте: я офицер, мне приказали, да как же это я могу ослушаться? И что тут особенного, если даже и обыск... Вот посмотрим — ну, нет ничего, и слава богу, так и пройдет. А что тут сердиться?

Исподлобья он посмотрел Наде в лицо. Она молчала, плотно стиснув зубы.

— Все в порядке вещей, — продолжал офицер, рассматривая письма и книги, — все в порядке... Сегодня к вам назначили, завтра ко мне — и нет тут ничего обидного... А в этом ящике что изволите хранить? — И он показал на тот ящик, куда Надя второпях собрала свои записные книжечки, полагая, что обыск не повторится.

— Не откажите показать, — из ряда вон любезничал офицер, подбирая самые мягкие, вежливые слова.

— Так берите, что ж я могу? — беспомощно ответила Надя.

Он достал одну, другую тетрадку, стал читать. Перестал любезничать, раза два чуть заметно улыбнулся.

— Да... да... Гм... Вот оно что... По литературе, говорите? — и насмешливо посмотрел Наде в лицо.—А я вижу, что *плохая* это литература... за такую литературу в тюрьму сажают...

— Про что вы? — спросила Надя, стараясь придать наивность и невинность своему вопросу.

— А вот про то, что литература тут у вас... Пушкин, видите ли, Гончаров и... Ленин еще... Вот что...

— А, знаю, знаю, — хотела слукавить Надя. — Это я на улице... что-то слышала, проходила и слышала... Меня очень заинтересовало, я пришла и записала...

— Так... ну, и сколько это раз вы *случайно* на такие разговоры наталкивались?.. Тут вот что ни страница — все об одном... а?

— Да несколько раз.

— Ах, несколько раз, вот вы счастливая какая: как ни пойдете — все на разговор?.. И тут вот я вижу, что «К» сказал так, а «Ч» сказал вот так. Это, значит, как же? Это что же за «К», «Ч», кто они такие, знакомые ваши?

— Нет... — Надя замялась, не зная, что говорить. — Они не знакомые, а так... я просто взяла для удобства... одного одной буквой обозначила, другого другой... для удобства.

Офицер неожиданно поднялся с пола и, деланно вытянувшись во весь рост, сквозь зубы процедил:

— Вы знаете, что я нашел?

И остановился выжидательно. Надя стояла молча.

Тогда отчеканил медленно, слово за словом:

— То, что изо дня в день появляется в листовках! Да-с, в подпольных листовках... Что негодяи эти вешают по заборам-с! За что мы их ловим!.. Ловим и... расстрели-ваем!!! Поняли вы?

Надя, дрожащая, неподвижно стояла перед офицером.

— Я... я... не знаю этого, — пролепетала она.

— Вы очень хорошо знаете! — отрезал офицер. — И не притворяйтесь ребенком, я играть с вами не намерен! Вам грозит, знаете, не тюрьма — тюрьма что, тюрьмы мало, — вам грозит, как и *этим*... расстрел... Да-с: о...кон...чатель...ный рас...с...стреллл!!

И, быстро подступив вплотную, схватил Надю за руку. Она, как загипнотизированная, даже и руки не отдернула, не могла всего сообразить...

— Я... что же я... — прошептали белые губы. Она сама не понимала, что говорит. Захолонуло, упало все, оборвалось внутри. Рассыпались мысли, занемел язык, только дрожало что-то в гортани.

— И я еще говорю, — продолжал офицер все тем же задыхающимся, чуть слышным шепотом, — вы у меня в руках! Я волен сделать с вами что захочу: и скрыть могу и предать могу... Так слушайте: я вам оставлю жизнь, я сохраню... я ничего не скажу о том, что здесь нашел, жизнь спасу... но... но... вы будете моей... Ну?!

Одно мгновенье в глубоком молчанье ждал он ответа.

Она, казалось, не поняла того, что услышала. И офицер, оставив Надину руку, охватил вдруг талию, потянулся губами к губам...

Вмиг она все поняла. Рванулась прочь, отскочила, как кошка, и, нервно взмахнув рукой, ударила звонко офицера по лицу.

— Мерзавец! — крикнула ему и кинулась опрометью вон из комнаты. Добежала до постели и в рыданьях упала ничком, тряслась всем телом от нервной дрожи...

Не понимая, в чем дело, Петр Ильич со старухой, да и Павел предположили, что она волнений сегодняшнего дня просто уж не могла больше вынести и разнервнича-

лась. Они побежали сейчас же за водой, за полотенцем. Начали успокаивать.

Дверь растворилась — с искривленным от злобы, с раскрасневшимся лицом появился офицер.

— Увезите эту девицу в подвал! — скомандовал он солдатам. — Документы я все захвачу сам... Марш!..

Поднялась суматоха: Надя продолжала всхлипывать и дрожала всем телом; Анне Евлампьевне сделалось дурно, она повалилась на руки стоявшего Петра Ильича, да и сам старик еле держался на ногах, без кровинки в лице, потерявший остатки мыслей, оробевший до последней степени, он только приговаривал:

— Господи... господи... Что это?.. господи!

А Павел, бледный как бумага, уговаривал сыщиков:

— Да подождите... хоть очнуться дайте... Куда она уйдет... Это бессердечно...

— Ну, живо! — скомандовал офицер, и беззубый с цыганом подхватили под руки бесчувственную Надю, поволокли на улицу.

— На моей отвези, потом приедешь! — крикнул офицер вслед.

Надю посадили в пролетку, увезли.

В доме Кудрявцевых эту ночь не спал никто. Анна Евлампьевна не вставала; она все время была в полузабытьи, Петр Ильич стонал и плакал около старухи. Павел ходил молчаливо и угрюмо. Так бывает, когда в доме покойник. Ужас охватил всех. Старики растерялись, стали беспомощны, как малые дети, вздрагивали при каждом шорохе.

Глубокая ночь. Тишина. Павел пройдет среди разбросанных по полу вещей из «приданого» стариков. Или заплачет нервно сквозь дремоту Анна Евлампьевна. Или вдруг вздохнет глубоко, застонет Петр Ильич и заголосит:

— Господи, господи, что это?

Надю отвезли в подвал епархиального училища. Здесь подвалы считались самыми надежными, охраняли их юнкера. Народу было набито там видимо-невидимо. Сначала мужчин и женщин сажали в разные камеры, а когда оказалось, что места все «заняты», гнали гуртом, не разбирая, кто куда попадет. В такую общую камеру загнали и Надю. Ее под руки свели по ступенькам — стоять она все еще не могла. И как только подвели к дверям — втолкнули, а цыган крикнул заключенным:

— Эй, шпана, товарищи!.. Вот вам еще девку!..

И захохотал.

Никто ему не ответил — заключенные молчали. Они с любопытством разглядывали нового товарища и, когда узнали, что Надя нездорова, отвели ее в дальний угол, подняли двух, лежавших врастяжку, и на их место бережно ее уложили.

— Воды бы ей надо дать, — сказал кто-то.

— Не дадут...

— Как не дадут? Потребовать!

— Пожалуй, требуй! — не дадут все равно...

— Попробуем!..

И говоривший, подойдя к двери, тихо постучал. Ему никто не ответил. Он громче — молчание. Тогда изо всей силы начал он молотить по двери кулаком. Послышался хриплый окрик:

— Что стучишь, сволочь?

— Воды надо дать, тут больная...

— Иди к...

— Дай воды, говорю! — приставал заключенный.

— Дай воды, дай воды!! — кричали еще три-четыре человека, и, приблизившись к двери, все забарабанили кулаками.

— Перестань... сволочь!! — закричал охранник за дверью.

— Дай воды!!!

И вдруг грянул выстрел...

Пуля пробила дверь чуть выше голов их.

— Сволочь!! — рычал рассвирепевший охранник. — Я дам бунтовать!! Успокою!.. Под...длецы!!

Но заключенные не думали успокоиться. Поднялся невообразимый крик, протесты, брань, проклятья. За дверью на выстрел, видимо, прибежал кто-то из начальства.

— В чем дело? — спросили там.

— Воды сюда!.. И воспретить стрелять!!

Воды скоро принесли, и тот самый, что первый начал барабанить в дверь, подносил Наде доверху наполненную кружку.

Она уже сидела на полу: крики, а главное — выстрел привели ее в себя.

— Что это было?

Ей объяснили:

— Воды не дают... Вам воды надо было дать... плохо себя чувствовали... а они не дают...

— А стрелял кто же?

— Это оттуда... из-за двери... чтобы не просили...

— И все это... из-за меня? — спрашивала и недоумевала Надя. Смотрела на этого вот смуглого рябого соседа, что поднес ей воду, и думала:

«Кто же он? Ну, и что ему я, совсем чужая? А жизнью ведь рисковал... могли убить... И что это они какие все тут дружные... А меня, как родную... даже место освободили... Положили... И воды принесли...»

С одного лица на другое переводила Надя восторженный, изумленный взгляд, и казалось ей, что лица эти какие-то особенные, что и смотрят они по-особенному и говорят... Это совсем-совсем другие, новые люди... Таких она не знала. Вот разве Климов один... Да, он, пожалуй, очень будет похож на них.

И, прижавшись к стене, глотнула два-три раза из кружки, потом ее оставила, задумалась... Мысли скакали неопределенные, она ни на чем не могла остановиться. Не было ни тяжести, ни страха — только удручало воспоминание о стариках... Она в этой новой среде и совершенно новой обстановке чувствовала себя удивительно легко и понимала, что даром в жизни ей это испытание не пройдет, что отныне начинается для нее какая-то новая жизненная полоса, — надолго она или не надолго, не знает, но этот день рассекает гранью на две половины всю Надину жизнь... И замирало сердце в ожидании желанных поступков и дел, совсем непохожих на те, что окружали ее до сих пор... Это будут новые *дела,* продолжение тех новых *слов,* которые впервые она услышала от Виктора. Где он теперь? И что с ним будет, когда придет и от стариков узнает, что Надю увезли... «Он, может быть, пойдет разыскивать? И его, может быть, допустят сюда... Мы увидимся... Нет, нет, как же это, разве сюда можно кого допустить?»

— Кудрявцева! — вызвал кто-то через дверь.

Надя замерла, не могла понять, кто бы это мог окликать и звать ее здесь, в подвале...

— Здесь Кудрявцева? — спросили снова.

— Я здесь, — отозвалась Надя.

— Выходи. Пойдешь на допрос.

Надю привели наверх, и какой-то незнакомый человек, развалившись за столом в полутемной закуренной комнате, задавал ей массу всяких вопросов.

— Фамилия?

Она говорила.

— Имя, отчество?

Говорила.

— Где живете, чем занимаетесь, чем родители занимались, что делали до 1917 и после, была ли судима и за что, к какой принадлежите партии, кому сочувствуете, как очутились в комнате записки о большевиках, кто такие «К» и «Ч» и т. д. и т. д.

Надя говорила ему так же, как офицеру, что записала в книжку лишь то, что слышала на улице, а про Виктора и Чудрова не обмолвилась ни единым словом.

Только на прямой и так изумивший вопрос: знает ли она Климова? — Надя ответила, что знает, и рассказала, как познакомилась и как потом несколько раз случайно они встречались на улице за это последнее время. Пока говорила, допрашивавший записывал ее показания, а когда закончил допрос, дал Наде прочитать, заставил ее подо всем этим подписаться. И когда уже Надю увели обратно в подвал, из-за ширмы вышел офицер, что делал обыск: он во время допроса был спрятан там и хотел проверить, то ли будет показывать Надя, что она говорила ему у себя в комнате. Потом он еще опасался, что сгоряча она в его присутствии может рассказать про пощечину, а этого срама опасался он паче всего и потому предпочел высидеть за ширмой добрых полтора часа.

— То же врет, сволочь, что и врала, — вяло уронил он следователю.

— Пощупаем, авось раскроется, — усмехнулся тот грязной усмешкой.

— Девочка, скажу вам, н-ну! — И офицер причмокнул, приложив палец к губам.

— Разделяю... сострадательно р...р...разделяю: товарец хоть куда! — подмигнул, подымаясь, следователь.

Побрякивая шпорами, они вышли в коридор.

Уже поздно вечером в камеру втолкнули еще троих незнакомцев. Надя узнала из разговоров, что кто-то и где-то «провалился», что стоял в городе совсем готовый штаб Красной гвардии и весь город разбит был на участки. Что-то неладное случилось в какой-то подпольной типографии, и тот, которого арестовали в типографии, будто оказался слаб на выдержку, не перенес испытаний и выдал некоторых из своих товарищей... В этом новом мире, среди новых людей, она чувствовала себя как малый ребенок.

«Они все, — думала Надя, — что-то там делали, к чему-то готовились... У каждого была своя большая забота, и каждый ее утолял, работал, рисковал, а я — я что сделала?»

И ей становилось совестно за то, что ничего она до сих пор не сделала, что только слушала хорошие слова, но к делу — к делу все еще не приступала...

Наутро вызвали из камеры шесть человек, куда-то увели. Больше они не возвращались. Потом еще... А вечером отобрали партию человек в двенадцать: сделали перекличку и одного за другим пропустили сквозь строй солдат, стоявших в коридоре... Надя сначала не поняла, отчего они уходят так глубоко тревожные и опечаленные, отчего им так крепко на прощание пожимают руки, даже обнимают, иные целуют крепко-крепко — так целуют только в дальнюю разлуку...

Прощались и с ней, и она пожимала руку.

— В расход!

Только теперь узнала она, что означает это страшное слово «в расход».

И когда пожимала руку уходящему, словно отрывался вместе с ним кусочек ее собственного сердца.

К вечеру этого дня движение по коридору как-то особенно оживилось, — оно не прекращалось всю ночь, — одних уводили, других приводили, — и все это наспех, чуть не бегом, только слышался топот по каменному коридору да грубые, похабные окрики. Не улеглось движение и поутру: беготня по коридору не прерывалась. Между заключенными пронесся слух, что в городе неладное, что белым, пожалуй, скоро отступать. Вслушивались в орудийные раскаты, и казалось, что ближе они, совсем-совсем близко. Всех захватили нервные предчувствия и ожидания. Метались по камере взад и вперед, друг на друга натыкались, даже сердились, даже бранились, — нервность чем дальше, тем становилась острей. Теперь одно: или, отступая, всех заключенных белые расстреляют, или не успеют, не успеют... Ах, может быть, не успеют... Может быть, в городе восстание, и восставшие сразу освободят тюрьму?!

А раскаты орудийные все ближе, все слышней. Нет сил терпеть... Вставали один другому на плечи, тянулись к крошечному окошечку, но что же можно было увидеть на воле из такого чуточного квадратика в стекле?

— Что там видно, что там?

— Ничего... часовой...

И снова начинали ходить взад-вперед, метаться, как звери по клетке. Надя едва ли не спокойнее всех переносила свое заключение и эти последние, решительные часы. Она не предполагала и десятой доли того, что ей грозило в эти последние часы... На ее счастье, того офицера сегодня поутру куда-то услали из города, помнить про Надю было некому.

— Артиллерия уходит, — сказал кто-то.

Примолкли. Вслушивались в лязганье, грохот и визг. Сердце переполнялось радостью или вдруг защемлялось смертельной болью.

«Жить или не жить?.. Жить или не жить?» — мучил близкий страшный вопрос.

Вот к дверям подошли, звеня оружием, юнкера и офицеры.

— Выходи по списку!!!

«Ох этот список!!! Роковой, последний список! Есть ли там мое имя? Есть или нет? Есть? Нет?» — каждый задавал себе мучительный вопрос.

— Горчак, Бялик, Аступченко, Пащук, Пархоменко, Бондарчук...

Перечисляли до последнего — в списке не было Нади Кудрявцевой. В камере осталось восемь человек...

— Прощайте, товарищи, счастливый путь!

— Да, теперь совсем, совсем счастливый...

Серьезные, молчаливые, пожимали руку оставшимся, один за другим пропадали из камеры...

VI. Развязка

В городе нервность росла с каждым часом. Город путался в тенетах слухов. Все говорили, что близко большевики. Кому надо, готовились к отъезду. В Раде то и дело страстные прения: уходить или нет, уходить или нет, когда Красная Армия подойдет вплотную? Станичники-делегаты проще решили: смотали узелки и айда по станицам! Осталась в Раде только махровая макушка, она порешила уходить с добровольцами.

События развивались с головокружительной быстротой. Уже как-то ранним утром, в двадцатых числах февраля,

донеслись издалека первые тяжкие вздохи орудий. Город всполошился.

Город стал неузнаваем: засеменил, заторопился, пропал в испуганной суете.

Кому невтерпеж, укладывался заблаговременно, подобру-поздорову выбирался из города.

Рада уверяла:

— Господа... господа... мы уйдем, господа, но всего лишь на несколько дней, а там клянемся поднять, взбудоражить Кубань, ополчить ее на «большевистские банды». Не будет Кубань порабощенной! Не будет, не будет Кубань большевистской!!

Так уверяла Рада.

Все ближе, отчетливей орудийная стрельба; все меньше надежды, что город удержится...

И вот в последнюю февральскую, в первую мартовскую ночь по городу заскакали верховые, затарахтели авто, промчались бешено мотоциклетки... Потом грузно, надсадисто поползла артиллерия, и было похоже, что везут не орудия, а каких-то гигантских покойников. И странно было видеть среди этой мрачно отступавшей процессии то здесь, то там порхающие легкие колясочки, а в колясочках разодетых дам... Они попискивали и повизгивали, протестовали и негодовали, что не дают им свободно, быстро проехать, грозили жаловаться знатным своим мужьям. Это отступали жены полковничьи и генеральские, — охраной им была артиллерия. Позади, замыкая шествие, эскадрон за эскадроном колыхались казацкие полки и видом были мрачны, зловеще-угрюмы, как эта черная похоронная ночь. Из окон домов, из приоткрытых ворот и калиток выглядывали проснувшиеся любопытствующие жители: смотрели с изумлением и новой тревогой на это внезапное полуночное движение, понимая, что происходит что-то важное и окончательное, что оно ведет за собой и новые страхи-тревоги и новые испытания.

А похоронная процессия шла и шла, ушла за окраины, за последние городские домики, доползла к Энемскому мосту. И вдруг совсем где-то близко забарабанила пулеметная дробь: та... та... та... У Энемского моста забесилась суматоха: красные наступали.

Сбились в кучу повозки, коляски, от страха обезумевшие люди, растерянные кони, мост в минуту был забит, как пробкой закупорен. Но шашка с нагайкой сделали свое: через десять минут по расчищенному пути отступали

на Шенджий казачьи эскадроны... Город пустел с одного конца, а с другого входили красноармейцы...

Происходил какой-то таинственный процесс. Город обновлялся, наливался неведомой новой жизнью. Хмуро, сердито стояли опустевшие дома главных улиц: у распахнутых дверей валялись битая посуда, поломанная мебель, солома, бумага, рогожи, веревки, осколки от ящиков и сундуков: здесь только недавно спешно что-то собирали, куда-то увозили, дом-сироту оставляли пустым и одиноким... Смотрел он, а с ним другой и третий — вся эта недавно столь шумная, богатая, расцвеченная улица, — смотрели недоуменно на новых пришельцев. Сердито смотрели пустые бездушные окна, длинные коридоры, настежь распахнутые двери, раскрытые погреба и чуланы.

Пахло плесенью, смертью. Было невыносимо тошно, словно только-только через эти распахнутые двери и окна повытаскивали покойников, оставили комнаты неубранными, а добро хозяйское растащили...

Не было видно лица человеческого, не слышно было живой речи: где-где забился человек и, как затравленный зверь, выглядывает робко из-за угла и ожидает заслуженной и неизбежной кары. Или к воротам выползет старушка — держит на тарелке хлеб-соль, будто рада-радешенька новым гостям. Стоит и дрожит, как старая высохшая тряпица на буйном ветру: ее, старую, выслали одну, а сами домашние попрятались, скрылись, разбежались.

— Тебя, бабка, не тронут, ты стара!!

И долго стоит одна, с вытянутыми руками, с простертым кому-то хлебом-солью. Но мимо, мимо мчатся люди, не видят они старушку — не до нее, не нужна никому.

Уж расползлась, пропала ночная темень, — вырастало теплое солнечное мартовское утро... Веселые, словно подновленные в ранних лучах, глядели настежь открытыми глазами избушки рабочих окраин. Поднялись и стар и млад, высыпали на улицу, знать не знали и знать не хотели, где тут главные начальники, где рядовые бойцы: кидались навстречу вступавшим товарищам, хватали за руки, бросались на шею, целовали их, незнакомых, вкрапливались синими рабочими блузами в зеленый лес красноармейских гимнастерок и шли вместе с ними, дружно гуторили, быстро-быстро на ходу торопились рассказать, что важно, что нужно знать, а потом про свою жизнь, про свои мучения, про долгое ожидание, про радостную встре-

чу. И в распахнутые окна, и с крыш, и с заборов — отовсюду неслись приветствия проходившим крепкой, четкой поступью красноармейским полкам. Перед окнами на высоких, бог весть откуда добытых шестах мотались красные флажки — и новые и старые, грязные и разодранные, часто клочок головного платка, потрепанной девичьей юбки. И на груди прицеплены красные ленточки — даже раздобыли их мальчишки, что вот бесенятами снуют теперь и вывертываются стремглав по рядам проходящих, по толпам и кучкам стоящих у окон жителей. Где-то в стороне, взгромоздившись на ящик, что есть мочи кричал рабочий:

— Да здравствует Красная Армия!!!

И по улицам и переулкам, близкие заражая дальних, — выносили и ревели толпы стоявших бурное:

— Ура!.. ура!.. ура!..

— Да здравствуют красные артиллеристы!!!

И ухнул новый взрыв нескончаемых криков-приветствий, незаметно объединившихся в *священный* гимн:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!..

Охватила песня от стара до мала — и с крыш и из подвалов пели ее молодые, задорно-звонкие, пели хриплые, старые, а там чуть слышные, почти детские голоса. Полки зычным ревом подхватили гимн и грянули вместе с рабочими.

Ударила музыка, зарыдали, застонали и полились все дальше, глубже и звуки и слова удивительной мелодии...

Вот верхом на коне навстречу вступавшим войскам выносится Паценко. Он машет на скаку красным платком, что-то кричит захлебывающимся голосом. Но не понять, не разобрать его слов, — только по блеснувшим в глазах слезинкам видишь, как потрясен и как он хочет передать свой восторг, бурную радость этим мученикам и героям, что так вот — спокойно, шаг за шагом, рота за ротой идут в сердце освобожденного города...

Новые и новые, новые роты и батальоны... Гуще красная рать, выше радость, горячей пламенные речи.

Вечерние сумерки проглотили и стены и лица человеческие: черная тьма в глухой и тихой камере. За дверью не

слышно ни беготни, ни окриков, ни брани. Могильная, глухая тишь. Только где-то в отдалении чуть слышно странное движение: шумит, нарастает, спадает, шумит непрерывно, как волны далекой горной реки. Но это не в коридоре, это где-то дальше, может быть, во дворе... Тюрьма притихла.

Зато на улице движение с каждой минутой все торопливей. Визг, свист, фырканье коней, скрежет машин... Улица бурно непокойна. Что это с нею сегодня, в эту черную-черную ночь?

И заключенные тихо меж собой переговаривались, недоумевая, и радуясь, и опасаясь, не зная, откуда этот полуночный шум и что несет с собой для них — пленников подвала. Вот как будто тише... Примолкла улица. Но не надолго. Откуда-то издалека уже доносились новые звуки: это пела масса...

— Товарищи! — крикнул кто-то.— Поют... там поют... Что это? Откуда?

Все вскочили с полу — и к дверям. Крепка тюремная дверь: не отомкнется. Примолкли. И тихо-тихо запели гимн. А там, за окнами тюрьмы, поют; и ближе, все ближе волны песен. Уже нет сомненья: огромная толпа подходит к каземату... Вот они сгрудились, кричат. Вот вбегают во двор... Ахнул резко выстрел, вздрогнула камера... Мчатся по коридору... Вот уж у самых дверей топот, крики... Вот и дверь сорвали с петель...

— Живы ли? — крикнул из коридора чей-то знакомый голос.

И, потрясенная, крикнула камера одно только заветное:

— Товарищи!!

Надя выскочила в коридор: около пылающего факела стоял Виктор. Она кинулась к нему и не могла в волнении выговорить ни слова.

— Здравствуй, здравствуй, Надя! — пожимал ей кто-то руку.

Оглянулась: Чудров.

Это он встретил Виктора, когда тот с батальоном вступал в город, и вместе они кинулись к местам заключения.

За воротами ждала огромная толпа рабочих.

— Ура!.. ура!.. — загремело со всех сторон, лишь только они при свете факела вышли на волю.

— Да здравствуют освобожденные товарищи! — крикнул Чудров.

И новыми криками всколыхнулась ночная тишина.

При свете факелов со знаменами шли по городу толпы рабочих, а тишь прорезали стальные слова:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе!

Сумерки бледнели. Занималась заря.

1923

КРАСНЫЙ ДЕСАНТ

Осенью, в августе 1920 года, Врангель из Крыма перебросил на Кубань несколько тысяч своих лучших войск. Этими войсками командовал Улагай — один из ближайших сподвижников Врангеля. Цель переброски заключалась в том, чтобы поднять на восстание против Советской власти кубанское казачество, свергнуть ее и начать морем переправку хлеба в Крым. Белый десант высадился в трех пунктах Азовского побережья и сразу пошел вперед свободно, быстро, почти не встречая препятствий, занимая один поселок за другим, все ближе и ближе подвигаясь к сердцу области — Краснодару.

Взволновалась, встревожилась Кубань. Ощетинилась полками 9-й армии, наспех сколоченными отрядами добровольцев: один только Краснодар в эти неспокойные дни выставил шесть тысяч рабочих-добровольцев! Улагаевский десант шел победоносным маршем и ждал со дня на день, что восстанет казачество и тысячами, десятками тысяч, создавая партизанские отряды, станет к нему примыкать, помогать ему наскакивать на тылы Красной Армии, громя их и уничтожая. Но ничего подобного не случилось. Измученное долгими испытаниями гражданской войны, убедившееся в подлинной силе Красной Армии, в могуществе Советской власти, казачество кубанское не верило в успех улагаевской затеи, держалось спокойно и на помощь к нему не подымалось. Правда, не по душе была зажиточным казакам продовольственная разверстка, не по душе было запрещение вольной торговли, запрещение бессовестной эксплуатации работников-батраков, но даже при всем этом недовольстве богачи казаки не осмеливались выступать против Советской власти, как выступали они против нее в 1918 году. И все же опасность от белого десанта была велика. Надо было торопиться его остановить, задержать, а потом ударить и отогнать...

«Не прогнать, а уничтожить!» И Кубань готовилась лихорадочно к этой новой трудной задаче.

В двадцатых числах августа неприятель стоял всего в

сорока или пятидесяти верстах от областного центра, Краснодара. Был принят целый ряд срочных мер. В числе этих мер — посылка красного десанта по рекам Кубани и Протоке к неприятелю в тыл, верст на сто пятьдесят от Краснодара, к станице Ново-Нижестеблиевской: там находился тогда штаб генерала Улагая, командовавшего белым десантом. Начальником красного десанта был назначен тов. Ковтюх, комиссаром назначили меня.

Нашей задачей было нанести неприятелю внезапный стремительный удар в тылу, вырвать у него инициативу наступления, произвести панику, разрушить все планы...

Операция удалась.

На Кубани, у пристани, стояли три парохода: «Илья Пророк», «Благодетель» и «Гайдамак». Пароходишки дрянные, старые, на ходу тяжелые: через силу протаскивались по семь, по восемь верст в час. На этих пароходах и на четырех баржах должен был отправиться в неприятельский тыл наш красный десант.

Целый день до вечера на берегу царило необыкновенное оживление: за несколько часов надо было собрать живую силу, вооружиться, запастись продовольствием, что можно — починить... Подъезжали автомобили, скакали кавалеристы, подвозили артиллерию и отчаянно галдели, возясь с нею на песчаном скате; гремя и дребезжа, врывались в говорливую сутолоку военные повозки с хлебом, фуражом, со снарядами; по чьей-то неслышной команде подбегали кучки красноармейцев, живо взваливали на спину тугие мешки и, согнувшись дугою, качались на речных подмостках, пропадали в зияющих темных дырах пароходов... Ящики со снарядами брали по двое, а те, что потяжелее, и по четверо, тихо снимали, тихо несли, тихо опускали на землю — такова была команда: «Снарядов не бросать!» Ну зато уж над хлебными караваями потешились вволю: их, словно мячики, перебрасывали из рук в руки, старались друг дружку загнать, опередить в ловкости и быстроте. А иной раз эти мячики давали здоровенного тумака зазевавшемуся ротозею и через его голову проскальзывали в руки дальнего соседа, ждавшего с лукавой усмешкой.

Одному такому ротозею, стоявшему на подмостках, над водой, сбили фуражку прямо в реку, дружно хохотали, острили.

— Эка буря поднялась, одежу рвет!.. — кричит один.

— Плыви скорей, что смотришь! — горланит другой.

А третий, показывая на лодку, смеется:
— Эй, ударь веслами, попытай счастья...

После этого случая ребята поснимали шапки: те, что были на берегу, бросили их на землю, а стоявшие на подмостках и близко к воде — пихали за пазуху, за пояса.

Погрузка продолжалась. Подходили новые команды оживленными стройными рядами, а потом расплывались, пропадали в толпе,— и эти новые также начинали бегать, таскать, браниться, хохотать. С инструментами в руках и на плечах, готовая к работе, подошла рабочая артель и, пошучивая, пересмеиваясь с красноармейцами, исчезла в прожорливой пасти парохода.

Вездесущие торговки продавали на берегу спелые сочные арбузы; мальчишки, юркие и горластые, шныряли повсюду и предлагали нараспев папиросы. Шпалерами стояла в отдалении бездельничающая публика, недоуменно смотрела на все эти приготовления, выспрашивала, высматривала, вынюхивала. Потом каждый разносил по городу вздорные слухи, уверяя, что видел все «своими собственными глазами». Были тут, как это водится, шпионы, но даже и они не могли проникнуть в тайну таких по виду шумных, открытых, в то же время совершенно секретных приготовлений.

Тайна в нашем деле была крайне необходима. Тайну надо было хранить крепко, ибо, выпорхнув в Краснодаре, она через несколько часов опустилась бы в улагаевском штабе.

За время гражданской войны белое казачество отлично приучилось поддерживать свой казачий «узункулак» (так называется у киргизов Семиречья обычай — всякое важное событие немедленно передавать от кишлака к кишлаку). Получил киргиз весть — вскакивает на коня, мчится по равнинам, пробирается по горным тропкам — и в результате за короткое сравнительно время вся пустынная и дикая округа оповещена. Если бы Улагай заранее узнал про красный десант, всей операции нашей была бы грош цена: приготовиться к встрече и обезвредить нас не стоило бы ему ровным счетом никаких трудов — речные мины, десятка полтора пулеметов в камыши да два-три орудия, взявшие на картечь,— вот и могила десанту: в узкой реке трудно было бы спастись.

Тайна была соблюдена.

Вопросы любопытных разбивались о мычание незнающих. А бойцы — эти даже и не любопытствовали; разве

только курносый и веснушчатый пулеметчик Коцюбенко толкнет локтем соседа и молвит:

— На подмогу? А?

— Известно, не против своих,— оборвет его недовольный сосед.

На этом разговор и кончается.

Красноармейцы были набраны молодец к молодцу: добровольцы, члены профессиональных союзов, рабочие, комсомольцы, партийно-мобилизованные,— словом, такие ребята, с которыми можно было начать любое трудное дело. Всего набралось восемьсот штыков, девяносто сабель, десяток пулеметов да артиллеристы около макленовского взвода и двух легких полевых орудий. Отряд небольшой, но ядреный.

После обеда, часам к четырем, все уже было готово к отплытию: втащили последние ящики снарядов, загнали автомобили, завели усталых, взмыленных коней.

Дожидались — не подойдут ли медикаменты, но с этим добром в подобных случаях уж, видимо, конец всегда один: не подошли. И ехать пришлось, можно сказать, с совершенно пустяковыми запасами.

На баржи, на пароходы втащили подмостки, побросали грязные мокрые канаты... Бабы закатывали в мешки непроданные арбузы, взваливали на плечи, уходили. Берег пустел, зеваки расходились... На баржах, где навалены были седла, мешки, канаты, сено, арбузы, солдатские сумки,— в самых разнообразных позах расположились бойцы: грудно, шумно, весело.

На одной барже, у самого борта, свесив ноги, сидел Ганька из комсомола, по профессии наборщик. Ему восемнадцать лет. Лицо у Ганьки хорошее, чистое, а глаза светлые и умные. Он хорошо умеет играть на гитаре, легок на ноги, отлично пляшет и поет звучно, широко и свободно, из комсомола хотели направить в студию — развивать свои таланты, да тут вот приплыл Улагай — не до ученья, надо идти воевать. Он даже и не раздумывал над тем, идти ему или остаться. Когда в комсомоле объявили набор добровольцев, он записался одним из первых и ни на секунду не знал колебания — наоборот, всеми чувствами, мыслями и волей вдруг напрягся в ожидании чрезвычайных, удивительных событий. Он на фронте еще не бывал никогда и представлял себе этот фронт совершенно фантастически.

Ганька молчал, плевал на воду и любовался, как кро-

шечные рыбки подскакивали и глотали его белую, творожную слюну.

Позади Ганьки на корточках сидел матрос Леонтий Щеткин. Глаза, как у совы, круглые, водянистые, когда надо — добрые, а когда жестокие. Острижен наголо; широкая открытая грудь загорела, как медный таз. Щеткин молча озирался кругом, пускал залпом махорочный дым и долбил себя кулаком по колену...

Около самых его ног на куче сена покоилась черная кудрявая голова Танчука, лихого наездника, красивого бледнолицего белоруса. Самым дорогим существом на этой барже был для Танчука его пегий конь, именем Юсь.

Отчего он назвал его Юсь — и сам объяснить не мог, но уж, верно, потому, что, когда Танчук произносил часто: Юсь, Юсь, Юсь — получался свист, и это ему нравилось: он начинал прихлопывать, притопывать и высвистывать плясовую. Дважды раненный Юсь неоднократно спасал жизнь своему бледнолицему седоку и уносил его даже от быстроногих казацких коней.

Танчук лежал с открытыми глазами, глодал арбузную корку, сопел и отплевывался в сторону.

Рядом стоял эскадронный по фамилии Чобот — высокий, мускулистый, могучий. Полуголодное бродяжничество из города в город, из конца в конец по широкой Руси, нескладная семейная жизнь — ничто не убило в нем бодрого духа, какого-то ясного, торжественного отношения к жизни. Казалось, будто у этого человека никогда не было и нет ни несчастий, ни горя; будто у него одна сплошная радость, которая так вот открыто льется на волю и сквозит во всем: в его словах, в его движениях, в его манере обращаться с людьми и в том, как легко и весело берется он за всякое дело.

Чобот стоял, чему-то улыбался — верно, своим мыслям — и смотрел вверх по Кубани...

Тут же был веснушчатый желторотый Коцюбенко. Жиденький, маленький, он словно врастал в землю и становился еще меньше, когда начинал что-нибудь говорить своим глухим, могильным голосом. Бедняга был болен чахоткой. Лечился, но мало, плохо, неисправно. Страшная болезнь подбирала его под себя, готовилась удушить. Коцюбенко это знал и, когда был один, становился мрачен, тосклив и задумчив. А на людях все торопился во всем и всех перекричать, но как-то невинно, как-то незлобно — и на это никто не обижался. Когда он силился «громых-

нуть», как острил про него огромный Чобот, все невольно притихали, и на лицах появлялась терпеливая, снисходительная улыбка.

— Ишь, черт, не балуй! — крикнул Танчук, увидев, как Юсь прицеливался укусить соседа мерина.

Юсь остановился, словно вдумываясь в то, что услышал, дернул два-три раза теплыми шелковистыми ушами и отвернулся от мерина.

— То-то,— объявил торжественно Танчук.

— А что — «то-то»? — спросил усмешливо Чобот.

— Не видишь? Слово понимает...

— Ну, вижу: стоит как стоял,— поддразнивал Чобот.

— Грызть хотел, ерыга...

— Все чего-нибудь хотят,— философически брякнул Щеткин.

На минутку все замолчали.

— Товарищи,— обернулся к ним Ганька,— а верно, что лошадь привыкает к хозяину и понимает, что он ей говорит,— правда? А?

— Так вон, хоть бы сичас... — начал было Танчук.

— Ясно,— прогремел Чобот, перебивая его.— Иной скажет, дескать, посторонись-ка, а она и жмякнет тебе копытом на ногу... все понимает, да еще как...

— Нет, товарищи, понимает,— вмешался Коцюбенко,— только кормить надо. Ты кормишь, тебя и понимает. И слушает одного тебя. У отца вороной жеребец одного его подпускал, а соседу, Антипу, руку прогрыз, мясо вырвал. Один отец ходил — с ним как ягненок...

— Кто кормит, тот любит,— поддержал его Ганька.— А любовь все понимают. Поди-ка, пни лошадь ни за што, думаешь, не обидится? Как же... Сразу поймет... А холку потрепли — замрет, ждет, что станут еще трепать... Все, братец, понимает.

— Непременно так,— поддерживал и Танчук.

По берегу шла девушка в розовом платке; она смотрела на баржи и кого-то, видимо, искала.

— Ай, Дуня-Груня,— крикнул Чобот,— не видишь, што ли?

Девушка улыбнулась и шла дальше.

— Хоть платочек на дорогу подари,— смеялся он.

— И глядеть-то не хочет,— ввернул Щеткин.

— Тебя видит, пугается... — бросил Чобот.

— Сам-то хорош, кобыла березовая...

Все рассмеялись.

— Ганька,— сказал Коцюбенко,— хочешь, гармошку принесу, петь будешь?

— Чего же не петь, буду,— согласился Ганька.

Коцюбенко пропал среди мешков и коней и скоро воротился с гармонью.

Сел на бревно и, как полагается, минуту или две пробовал голос, тянул ноты, мурлыкал что-то про себя, брал всевозможные аккорды.

— Ну, што? — вытянулся он вопросом к Ганьке.

— Што хочешь...

— Давай — «За острова на стержень»...

— На стрежень,— поправил Ганька.— Только помогать — один не стану!..

— Начинай! — согласились разом Чобот и Танчук.

Ганька запел. Сначала тихо, будто пробуя и приноравливаясь, потом громче, громче, громче...

Он уже поднялся на ноги, лицом обернулся к реке и пел не людям — волнам Кубани.

Гармошка подыгрывала плохо; Коцюбенко почти совсем не умел на ней играть, но это не портило. Пока Ганька запевал — Коцюбенко притихал, вслушиваясь в серебряный Ганькин голос, а когда он хотел дать гармошке ход — было уже поздно: ребята подхватывали громовыми голосами вторую половину куплета и не давали Коцюбенко проявить себя как следует... Уж вся баржа пригрудила к певцам и слилась с ними в общей песне...

Ганька заканчивал и повторял первый куплет:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...

Бурею вырвались грудные, сильные голоса:

Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.

В эту минуту певцов качнуло в сторону. Пароходы — незаметно, бесшумно, без свистков — снялись с места, отчалили от берега, потянули за собой баржи...

Словно огромные чудовища, длинной лентою вытянулись суда по реке. Было в этом зрелище что-то одновременно и торжественное и жуткое: отряд уплывал в неприятельский тыл.

Этого никто не знал, но уже чувствовали и понимали все по характеру стремительных сборов, что предстоит что-то значительное и очень важное. Беззаботная веселость,

царившая на баржах и пароходах, пока они стояли у берега, уступала теперь свое место какому-то трезво-напряженному и сосредоточенному состоянию. Это была не трусость, не растерянность, не малодушие — это была непроизвольная психологическая подготовка к грядущему серьезному делу. Во взглядах, коротких и полных мысли, в движениях, быстрых и нервных, в речах, обрывистых и сжатых,— во всем уже чувствовалось нечто новое, чего совершенно не было, пока стояли у берега; это состояние нарастало прогрессивно по мере продвижения и принимало все более и более определенные формы мучительного ожидания.

На пароходах, где в общем и целом про операцию знали больше, чем на баржах, все повысыпали на верхние палубы и, показывая в разные стороны, определяли, где расположено то или иное болото, где проходят дороги и тропы...

Кубань кружилась и вилась между зелеными берегами. Вот уже миновали корниловскую могилу — крошечный холмик на самом берегу. Все знакомые, такие памятные исторические места! Эти берега сплошь политы кровью: здесь каждую пядь земли отбивали с горячим боем у царских генералов наши красные полки.

Дальше, все дальше плывет отряд...

Широкими темными пятнами раскинулись в отдалении станицы. Лесу нет — кругом идут просторные, теперь уже пустые, сжатые поля.

Кое-где трава особенно сочна и зелена — это болота; порою встречаются камышовые заросли, но здесь их еще немного — они будут дальше, в завтрашнюю ночь; изредка блеснет свинцовое лоно лимана — вокруг него ютятся, как пасынки, мелкие корявые, уродливые кустарники...

Все ниже и ниже опускается темная августовская ночь. Вот уже и берега пропали, вместо них остались по краям какие-то однообразные смутные полосы: ни трав, ни камышей, ни кустарника — не видно ничего. Медленно движется караван судов. Передом, как собачонка перед сердитым хозяином, юлит и кружится во все стороны моторная лодка. Ей дана задача все видеть, все слышать. Знать все, что ожидает впереди, а главным образом высматривать, нет ли попрятанных мин.

Эта первая ночь еще не грозила большими опасностями; надо было к утру добраться до станицы Славянской, что верстах в семидесяти — восьмидесяти от Краснодара, если считать по воде. В Славянской — наши; берега, сле-

довательно, до самой станицы должны быть тоже наши. Впрочем, это последнее предположение может быть и ошибочным: неприятель, отлично зная места, все потайные дорожки и камышовые тропы, часто заскакивал в наш тыл и оказывался там, где его совсем не ожидали. Так мог он и теперь заскочить на эти берега, мимо которых мы проплывали. Но тихо: ни стрельбы, ни шума. Только слышны всплески воды под колесами пароходов, да изредка конь заржет, обиженный беспокойным соседом.

Опустели палубы пароходов — люди спустились в каюты. Сидели молча, говорить не располагало. Иные дремали, просыпаясь при каждом толчке; иные сидели, упершись взорами в темные стекла, и курили одну цигарку за другой. На баржах тоже тихо: притулившись к седлам, к мешкам, к повозкам или прижавшись друг к другу, спят красные бойцы. Сопят и храпят вперегонки, закрыв глаза,— чрезвычайно странно послушать этот своеобразный концерт. Что-то фыркает и хрипит внутри пароходов, но так сдержанно, так тихо, что едва ли слышно на берегу.

Все дальше и дальше плывет наш красный караван.

Когда густая мгла стала подниматься от земли, а на востоке чуть забрезжила заря, мы подплывали к Славянской.

У самой станицы над рекою — огромный железнодорожный мост. Его взорвали белые, когда увидели, что положение их безнадежно. Чудовище рухнуло в воду, но крайние пролеты устояли и под углом накренили средний пролет, лежавший на дне. Под этими крайними пролетами и надо было провести наши суда. Задача нелегкая, ибо река здесь сильно обмелела. Работы хватило до самого вечера: вымеривали, выщупывали, проверяли каждый шаг. Наконец все готово к отплытию. Разместились новые бойцы, которых забрали из Славянской. Теперь уже всех набиралось около полуторы тысячи человек. Погрузили кое-что из припасов — и снова в путь. Десант разбили на три эшелона. Во главе каждого поставили на время пути своего начальника; разъяснили, что предстоит за путь, чего можно ночью ожидать.

Лишь только смеркалось, так же тихо и бесшумно, как вчера, отчалили от берега тяжелые пароходы. В станице никто не заметил отхода; весь день она была оцеплена войсками — ни в станицу, ни из нее никого никуда не пускали. Тайна и здесь была сохранена.

Тайна спасла жизнь красному десанту.

От Славянской до Ново-Нижестеблиевской, где стоял улагаевский штаб, по Протоке считается верст семьдесят. Ехать надо целую ночь. Время было рассчитано таким образом, чтобы к месту высадки попасть на рассвете, в тумане, когда все еще погружено в глубокий сон. Врага застать надо было врасплох, появиться совершенно неожиданно.

Эту последнюю мучительную ночь никогда не забыть участникам похода. Пока ехали до Славянской, здесь все-таки были свои места, и неприятелю проникнуть сюда было трудно. А вот теперь, за Славянской — среди лиманов и плавней, по зарослям и камышам, которыми укутаны мокрые низкие берега,— там всюду кишат вражьи дозоры и разъезды. Положение крайне опасное. В таком положении меры принимать надо было особенные.

Перед тем как отплыть пароходам, на берегу собрались в кучу руководители отряда и совещались о необходимых мерах предосторожности. Тут был начальник Ковтюх, имя которого так неразрывно связано с Таманской армией. Эту многострадальную армию по горам и ущельям он выводил в 1918 — 1919 году из неприятельского кольца. Кубань, а особенно Тамань отлично знают и помнят командира Епифана Ковтюха. Сын небогатого крестьянина из станицы Полтавской, он за время гражданской войны потерял и все то немногое, что имел: хату белые сожгли дотла, а имущество разрубили начисто. Всю революцию Ковтюх — под ружьем. Немало заслуг у него позади. Да вот и теперь: Кубань в опасности, надо кому-то кинуться в самое пекло, пробраться во вражий тыл, надо проделать не только смелую — почти безумную операцию. Кого же выбрать? Епифана Ковтюха. У него атлетическая, коренастая фигура, широкая грудь. Большие рыжие усы словно для того лишь и созданы, чтобы он их щипал и крутил, когда обдумывает дело. А в тревожной обстановке он все время полон мыслями. И в эти минуты уже не говорит — командует. Зорки серые светлые глаза; чуток слухом, крепок, силен и ловок Ковтюх. Он из тех, которым суждено остаться в памяти народной полулегендарными героями. Вокруг его имени уже складываются были и небылицы, его имя присоединяют красные таманцы ко всяким большим событиям. Стоит Ковтюх на берегу и машинально, сам того не замечая, все дергает и дергает широкий рыжий ус.

С ним рядом стоит первый, ближайший, лучший помощник — Ковалев. Ему перекосило от контузий лицо, на сторону своротило скулу, оттянуло верхнюю губу. Не запом-

нить Ковалеву, сколько раз побывал он в боях, сколько раз ходил в атаку. Даже не подсчитает точно и того, сколько раз был поранен: не то двенадцать, не то пятнадцать. Я не знаю, есть ли у него живое место, куда не шлепнулась бы пуля, не ударился бы осколок снаряда или взметнувшаяся земля. И как только выжил человек — не понять. Худой, нездоровый, с бледным, измученным лицом, обрамленным мягкой шелковистой бородой, он представляет собою образец истинного воина по своей постоянной готовности к любому, самому рискованному делу, по своей дисциплинированности, по личному мужеству и благородству. Числясь в полной отставке, он никак не мог оставаться вне боевой обстановки и теперь направлялся с нами совершенно добровольно на опасное дело.

Я видел его потом в бою — такой же веселый, ровный, как всегда. Самое большое дело он совершал с неизменным хладнокровием и докладывал об этом деле как о пустяке, не стоящем внимания. Таких Ковалевых, чуть заметных, но подлинных героев,— много в Красной Армии. Но они всегда скромны, о себе молчат и остаются в тени.

Против Ковалева — командир артиллерии Кульберг. Я ближе узнал его лишь потом, в горячем бою, когда у нас все было поставлено на карту; такой твердости, такой настойчивости можно позавидовать: кремень — не человек. А посмотреть — словно козел в шинели, да и голос, как козлиный, дрожит, дребезжит, рассыпается горохом.

Были еще два-три командира. Совещались недолго: почти все было решено и передумано еще днем.

— Позовите Кондру,— приказал Ковтюх.

— Кондра... Кондра... Кондра...— покатилось из уст в уста.

Быстрой твердой поступью подходит Кондра.

— Я явился. Что прикажете?

Любо посмотреть на бравого молодца: глаза горят отвагой, а рука то и дело опускается на эфес кривой чеченской шашки. На самом затылке мохнатая белая шапка: открылся чистый высокий лоб, еще яснее стали ясные быстрые глаза.

— Слушай, Кондра,— сказал Ковтюх.— Ты должен знать, что дело, на которое идем,— опасное дело. По плавням белые. Куда ни глянь — в камышах, по луговинам, над лиманами,— у них везде стоят, разъезжают дозоры... Знаешь ты эти места?

— Ну кто же их знает, как не я? — осклабился Конд-

ра.— До самого Ачуева, до моря — тут все болота, все дорожки знакомые... Ходил, знаю...

— А знаешь... Так вот что,— молвил Ковтюх,— нам некогда медлить... Суда готовы плыть. Надо взять тебе десятка три-четыре лучших из ребят, самых смелых, да и место знающих,— взять их с собой и — фью... (Ковтюх свистнул и пальцем указал куда-то неопределенно вперед.)

— Понимаю...

— А понимаешь — и толковать больше не будем. Возьмешь погоны офицерские, кокарды, светлые пуговицы: у меня все заготовлено... А ну! — обратился он к одному из стоящих.

Тот мигом к пароходу и скоро вернулся с небольшим узелком.

— Бери,— подал Ковтюх узелок.— Только живо; разукрашиваться будете не здесь — когда отъедете. Выдели надежного — он поедет по левому берегу, дашь ему человек десяток: тут не так опасно. А сам направо. Оглядывайся, не проморгай. Коли что неладно — знаешь наши сигналы. Держись ближе, самого берега.

— Понимаю...

— Так запомни: ежели не очистишь берегов — нам назад не возвращаться...

— Так точно... Можно идти?

— Иди... Да живо...

Кондра так же быстро, как и появился, исчез на барже. Скоро стали сводить коней. Потом сбились в кучу. Потолковали с минуту, разбились на две партии... И видно было, как быстрою рысью поехал Кондра, а за ним человек двадцать пять бойцов.

В другую сторону отделилась группа человек в пятнадцать, и во главе ее узнал я Чобота: могучий, широкий, как богатырь, сидел он на рослом вороном коне. А рядом с ним Ганька — худенький, гибкий, как тополевый сучок. Со всех судов смотрели молча красноармейцы вслед удалявшимся товарищам,— не спрашивали, не допытывались — все было понятно и так. Не было ни шуток, ни смеха.

Отъехал Кондра версты полторы, спешился со своими ребятами и говорит:

— Вот тут разбирайте, кому что придется, только с чинами не спорить,— и подал им узелок.

Ребята развязали его, извлекли оттуда белогвардейские наряды — погоны, кокарды, пуговки, ленты,— и через пять минут отряда было не узнать.

Сам Кондра оборотился полковником, и когда надувал губы, делался смешон и неловок, словно ворона в павлиньих перьях.

Тьма еще не проглотила вечерние сумерки, и дорожку различать можно было лишь с трудом. Сели снова на коней, тронулись.

— Хлопцы,— внушал Кондра,— не курить, не кашлять громко, будто нас вовсе нет...

Ехали в тишине. Чуть слышно хлюпали по влажной и топкой земле привычные кони. Лишь только они начинали вязнуть — и вправо и влево отъезжали всадники, выискивали, где крепче, где настоящая дорога... Так ехали час, два, три... Никто не попадался навстречу; в камышах и по плавням — никаких признаков жизни. Черным, густым мраком закутались равнины; над болотами — тяжелый седой туман. Вот навстречу донеслись какие-то странные звуки, которых не было до сих пор; так гудит иной раз телефонная проволока, а может быть, это где-нибудь вдалеке падает ручей...

Кондра остановился, остановились и все. Он повернул ухо в ту сторону, откуда доносились звуки, и различил теперь ясно гомон человеческой речи...

— Приготовиться! — отдана была тихая команда.

Руки упали на шашки. Продолжали медленно двигаться вперед... Были уже отчетливо видны силуэты шести всадников — они ехали прямо на Кондру.

— Кто едет? — раздалось оттуда.

— Стой! — скомандовал Кондра.— Какой части?

— Алексеевцы... А вы какой?

— Комендантская команда от Казановича...

Всадники подъехали. Увидели погоны Кондры и почтительно дернулись под козырек.

— Разъезд? — спросил Кондра.

— Так точно, разъезд... Только — кто же тут ночью пойдет?

— Никого нет, сами проехали добрых пятнадцать верст.

В это время наши всадники сомкнулись кольцом вокруг неприятельского разъезда...

Еще несколько вопросов-ответов; узнали, что дальше едет новый дозор. Примолкли. Тишина была на одно мгновение. Кондра гикнул — и вдруг сверкнули шашки... Через пять минут все было окончено.

Ехали дальше, и с новым дозором был тот же конец... Так за ночь изрубил мужественный Кондра шесть не-

приятельских дозоров и не дал уйти ни одному человеку.

Чоботу тоже встретились два дозора, и судьба их была такой же, только со вторым дозором чуть не приключилась беда: под раненым белым всадником рванулся конь и едва не унес его. Пришлось вдогонку послать ему пулю — она сняла беглеца на землю.

Этот выстрел Чобота мы слышали с парохода и насторожились: предполагали, что завязывается перестрелка, что дозору удалось уйти, что враг примет живо какие-то новые меры.

Мы все стоим на верхней палубе и ждем... Вот-вот послышатся сигналы Кондры или Чобота. Но нет, ничего не слышно, на берегах могильное спокойствие.

Всю ночь до утра мы дежурили на верхних палубах. Все чудилось, что в камышах кто-то передвигается, что лязгает оружие, слышен даже глухой и сдержанный шепот-разговор. Здесь близко берега — и можно рассмотреть мутное колышущееся поле прибрежных камышей.

— Как будто что-то...— начинал один, присматриваясь в мглу на берег и указывая соседу.

— А, нет,— отвечал тот,— пустое...

Но потом, всмотревшись пристальнее, продолжал:

— А впрочем... Да, да... Как будто и в самом деле...

— Ты вот про то, что колышется, как штыки?

— Да, про них... Всмотрись... Только — что это? — и здесь, смотри, и здесь, и дальше все те же штыки...

— Э, да ведь это все камыши волнуются...

И отводили взоры от берега, но только на мгновение, а потом — опять, опять штыки, глухой и тихий разговор, стальное лязганье... Ночь полна страшных шорохов и звуков... Каждый силится остаться спокойным, но спокойствия нет. Можно сохранить спокойное лицо, и голос, и движение, но мысль бьется лихорадочно, чувствительность обострена до крайности. Рассуждали о том, что надо делать, если вдруг из камышей откроется пулеметный огонь. А можно ведь ожидать и большего: там сумеют подкатить орудия и возьмут нас на картечь... Что делать тогда?

Предполагали разное. Только ясно было каждому, что тогда уже надежды на спасение мало: в узкой реке не повернуться неуклюжим судам, а идти вперед — значит еще дальше просовывать голову в мертвую петлю. Но что же делать?

Соглашались на том, что надо быстро причалить к берегу, сбросить подмостки и вступить в бой...

Легко сказать — «вступить в бой». Пока подплывали бы к берегу, неприятель всех мог перекосить пулеметным огнем: ему из камышей прекрасно видно, как на баржах вплотную, кучно расположились наши бойцы.

Они тоже не спали: теперь, когда отъехали от Славянской, уже по пути командиры объяснили им предстоящую операцию со всеми ее трудностями и опасностями, которые только можно было предвидеть. Где уж тут было спать — в такие ночи не до сна; глаза сами ширятся, и взоры вперяются в безответную тьму.

Прижавшись друг к другу, ребята во всех концах вели тихую прерывистую беседу:

— Холодно...

— Дуй в кулак — жарко будет.

— Дуй сам... Вот он как дунет — пожалуй, и впрямь отогреешься.— И красноармеец кивнул головою на берег, в сторону неприятеля.

— Близко он тут?

— Кто его знает... Говорят, везде по берегу ходит... Да вот тут, в камыше, лежит... Наши уехали искать...

— Кондра уехал?

— Он. Кому же? Все дыры тут знает...

— Парень — голова...

— Ну, куда ты... Мы с ним еще на ерманском были...

— Надо быть, нет никого — тихо что-то...

— Али тебе орать будут? Вот чикнут с берега — и баста.

— Нет, говорю — от Кондры ничего не слышно.

— Как же ты услышишь? Ироплан, што ли, прилетит?

— А што это иропланов, братцы, нет нигде?

— Как нет! Летают... Они за городом лежат, а летают, когда солнце чуть восходит — оттого и не видишь.

— Вот что... А отчего это они летают?

— Кто их знает: пару, надо быть, подпускают.

— У тебя табачок-то с собой?

— Да курить нельзя — тебе же ротный говорил.

— И верно... А в кулак, я думаю, пройдет, не видно.

Запротестовали сразу три-четыре голоса. Курить не дали.

— Скоро подъедем?

— Куда?

— А где вылезать надо.

— Как станем — значит, и подъехали.

Такие короткие, сдержанные разговоры шли на всех баржах.

Один вопрос цеплялся за другой — часто совершенно случайно, от слова к слову...

Все так же тихо, почти бесшумно плыли во тьме караваны судов. На заре, когда еще густым облаком стоял тяжелый речной туман, первый пароход причалил к берегу... Одно за другим подходили суда и врезались в прибрежные камыши и высокую траву.

До станции оставалось всего две версты. Зарослей на берегу не было, и открывалась широкая поляна, где удобно было разгрузиться и строить войска. Знатоки этих мест говорили, что более удобной пристани для разгрузки не найти, что эта поляна — единственная на всем протяжении от самой Славянской.

Живо побросали подмостки — и с удивительной быстротой все очутились на берегу. Лишь только вступили на твердую почву, вздохнули свободно и радостно: теперь — не на воде, теперь стрелки и всадники сумеют постоять за себя и даром жизнь не отдадут! Скатили орудия, свели коней. Командиры построили части. Во все концы поскакали разведчики. Нервность пропала и уступила место холодной серьезной сосредоточенности. Все делалось быстро, так быстро, что приходилось только изумляться. Бойцы понимали, как это было необходимо в такой обстановке.

Командиры верхами окружили нас с Ковтюхом. Два-три напутственных совета, и — марш по местам! Уж все готово. Отдана команда идти в наступление. Впереди рысью пошла кавалерия. Заколыхались цепи.

На долю Ганьки выпала задача промчаться метеором по улицам станицы, все рассмотреть и доложить. Он несся, словно птица, мимо густых садов, мимо домов с закрытыми ставнями, пронесся по главной площади, у храма, и, исколесив станицу, возвратился и доложил, что «все в порядке». Когда стали расшифровывать это замечательное «все в порядке», оказалось, что обреченная станица спит мертвым сном. Она ничего не ждет, ничего не знает. Кое-где по углам дремали часовые, они сонными глазами смотрели вслед скакавшему Ганьке и считали его, верно, за гонца с позиции. Жители тоже спали, только изредка попадалась какая-нибудь сгорбленная старуха казачка, тащившаяся с ведром к колодцу. Видел Ганька и аэроплан — он был на

площади, у церкви. Видел за изгородью одного большого дома мотоциклетку и два автомобиля.

Когда он, запыхавшись и торопясь, все это пересказал, было совершенно ясно, что мы движемся, не замеченные врагом.

Удар был рассчитан на внезапность. Подойти надо было совершенно неожиданно, атаковать оглушительно. В то же время необходимо было создать впечатление навалившихся крупных частей, хорошо вооруженных, с богатой артиллерией. С другой стороны, нужно было организовать засады, неожиданные встречи, картину полного окружения и вселить в неприятеля убеждение в полной безнадежности положения. Эффект неожиданного удара должен был сыграть здесь исключительную роль.

В конце поляны, под самой станицей, остались еще целые полосы невыжженных камышей. Здесь пробраться было невозможно, и пришлось загибать, идти окружным путем. Разгрузка, сборы, приготовления, самое движение до станицы заняли около двух часов. Станица все еще не пробуждалась. Туман рассеивался, но медленно и над рекой продолжал держаться таким же густым белесоватым облаком, как прежде. Протока у самого селения загибалась в западном направлении и вела на Ачуев, к морю. По берегу, до станицы и за станицей, шла езжая дорога. По этой дороге и направилась часть наших войск. Сюда же, глубже, во главе с Чоботом, отправлен был в засаду эскадрон кавалерии, которому была дана задача рубить неприятеля, если он в случае паники бросится бежать, спасаться на Ачуев.

Части десанта были расположены в своем движении таким образом и с таким расчетом, чтобы одновременно могли дойти до станицы с разных сторон и одновременно же открыть огонь.

Тогда же должна была загромыхать артиллерия.

Неприятельские силы, расположенные в станице, могли нам оказать стойкое сопротивление ввиду своей достаточно высокой боевой доброкачественности (мало надежными были только пленные красноармейцы). Там стояли части корпуса генерала Казановича: Алексеевский пехотный полк, запасный батальон того же полка, Алексеевское и Константиновское военные училища и Кубанский стрелковый полк. Кроме того, в станице был расположен главный штаб улагаевского десанта со всеми своими разветвлениями и другие, более мелкие, штабы и тыловые учреждения. При

всем том следовало ожидать враждебных действий со стороны станичного населения. Ново-Нижестеблиевская была у нас на худом счету.

Около семи часов утра, когда части вплотную подошли к станице, раздался первый орудийный выстрел. Затем открылась оглушительная канонада: орудийные громы слились с пулеметным и ружейным огнем. Части шли вперед. Неприятель, не понимая, в чем дело, совершенно растерялся и никак не мог организовать защиту. Открытый по нашему десанту беспорядочный огонь не приносил почти никакого вреда. Красная пехота напирала и одну за другою занимала улицы станицы. В центре пришлось столкнуться с неприятелем, готовым к обороне.

Наши батальоны в этом месте вел Ковалев. Он отлично понимал, как опасно теперь промедление. Он знал, что паника в неприятельских рядах может миновать, и тогда с неприятелем справиться будет нелегко. В такие минуты бывает достаточно одного находчивого командира, который властно остановил бы бегущих, который понял бы мигом, в чем корень дела, и уяснил бы себе отчетливо, как и с чего следует начинать — сию же минуту. Паника усиливается обычно множеством случайных и противоречивых приказов, которые отдаются сплеча и сгоряча: один приказ опровергает другой, запутывает, затуманивает дело. Именно в такой стадии беспланового метания находился теперь неприятель. Но уже были первые признаки его начинающейся организации. Надо было ловить момент.

Ковалев отдает команду идти в атаку. Сам с винтовкою в руке остается на левом фланге. На правом идет Щеткин. У него так же широко открыты глаза, как и там, на барже, во время песни. Только теперь в них горят огни жестокого, беспощадного хищника. Весь лоб, до переносицы, перерезала глубокая складка. У Щеткина тяжелая поступь — он словно и не идет, а по заказу трамбует землю. Около него идти спокойно — родится какая-то твердая уверенность, что с ним не пропадешь, что Щеткина невозможно свалить с ног. Он отдает команду коротко, четко, сердито...

Неприятель сгрудился возле садов. Было видно, что он еще не выстроился как следует, что не нашлась еще могучая организующая рука, которая смогла бы толпу превратить в стройные упругие цепи.

Скорее, скорее... К этой толпе отовсюду — из сараев, из холуп, из садов и огородов, по улицам и закоулкам сбе-

гались солдаты. Толпа растет у нас на глазах. Она уже развертывается, принимает форму. Еще минута — и мы встретим стену стальных штыков, море огня — меткого, уничтожающего...

— Ура! — проносится по нашим рядам.

Винтовки наперевес, бойцы мчатся на толпу... Там замешательство. Многие кинулись бежать кто куда. Иные все еще продолжали стрелять... Почти все побросали винтовки и стояли, ждали с поднятыми вверх руками. Звенели кругом пули, то здесь, то там вырывая жертвы. Одним из первых, прямо в лоб, был убит Леонтий Щеткин.

Вдруг от плетня отделились человек пятьдесят и кинулись нам навстречу... Это заставило отпрянуть назад передовую нашу цепь. На минуту произошло замешательство, но Ковалев уже отдал новую громкую команду:

— Вперед, ребята, вперед, ура!..

И рванулись, как бешеные, красноармейцы... Опрокинули бегущих им навстречу белых солдат, смяли их... Дальше ничего не было видно...

Когда эта полсотня кинулась от плетня, те, что побросали винтовки, остались недвижимы и за ними не побежали: они стояли и ждали пощады с высоко вздернутыми кверху руками. Красные бойцы окружили пленников. Живо отогнали их на другое место, стояли, не трогали... Брошенное оружие собрали, сложили в груду, а через несколько минут пригнали подводы, погрузили и увезли к берегу. Всюду, куда ни глянь, валялись раненые — стонали, хрипели, иные кричали от боли... Оказалось, что эти пятьдесят — шестьдесят белых солдат были частью офицерами, частью — алексеевцами. Пощады им не было ни одному.

Остальных пленных погнали к баржам.

Чобот, пробравшийся со своим эскадроном за станицу, проехал до самых камышей, спешил всадников и ждал. От него человек десять разведчиков протянулось, залегло цепью ближе к станице, и один другому передавал, как идут там дела, что видно, что слышно.

Пока бежали отдельные белые солдаты, Чобот не подымал своих ребят и не тратил зарядов, не обнаруживал своего местонахождения. Правда, отдельные беглецы сами запарывались сюда же, к камышам; их без криков задерживали, оставляли у себя... Но лишь только ковалевская атака решила дело, остатки гарнизона кинулись вон из станицы и прямо на дорогу, к реке, надеясь переплыть ее на лодках и спрятаться на том берегу. В эту минуту эскадрон

вскочил на коней и кинулся из-за камышей на бегущих... Произошло что-то невероятное. Белые совершенно не ожидали нападения с этого края. Они шарахнулись в сторону, рассыпались по берегу и в большинстве побежали на то место, где прежде стояли лодки. Лодок не было. Чоботовы ребята увели их на другое место. Бежать было некуда. А всадники метались всюду среди беглецов и безжалостно их сокрушали, не встречая почти никакого сопротивления. Многие бросились в воду, надеясь вплавь добраться до того берега, но мало кому удалось доплыть: наш пулемет шарил по воде и нащупывал беглецов — большинство ушло ко дну Протоки. Возбужденный Чобот носился по берегу, он сам не рубил и не преследовал — только указывал бойцам, куда скрывался, куда бежал кучками ошалелый неприятель. Чобот все видел и разом замечал во все стороны, как метался враг и где он искал спасения.

Словно дикий степной наездник, скакал из конца в конец с обнаженной шашкой Танчук. Он уже давно потерял шапку, и черные кудрявые волосы разметались по ветру.

Он не знал и не слышал никакой команды, сам выбирал себе жертву и бросался на нее, как коршун, мял и рубил без пощады. И когда уже все было сделано — шальная пуля своего же стрелка перебила Танчуку левую руку. Он не крикнул, не застонал — только выругался крепче крепкого и соскочил с верного Юся. Сеча кончилась...

Сколько побито здесь было народу, сколько сгибло его на дне Протоки — останется навсегда неизвестным. Только отдельные беглецы успели добраться до камышей и спрятаться за них — большинство же погибло во время бегства. Были случаи, когда белогвардейские офицеры переодевались в женское платье, пытаясь таким образом скрыться в камыши, но кавалеристы не пропускали никого, задерживали маскированных и «оставляли» их здесь же на месте. Через два часа станица была в руках красного десанта.

В начале боя с церковной площади поднялся неприятельский аэроплан и полетел в направлении на Ново-Николаевскую[1], где были расположены белые части. И во время боя и после него из станичных садов и огородов, с чердаков крыш, из-за копен сена и из высокой травы то и дело летели шальные пули: так недружелюбно встречала станица красных гостей.

В этом утреннем бою захвачено было около тысячи

---

[1] Верст 25—30 на восток.

пленных, человек сорок офицеров, бронированный грузовой автомобиль, пулеметы, винтовки, снаряды, обозы с медикаментами, печати, канцелярии, личные офицерские документы и т. д.

В это время пароходы и баржи подошли к самой станице. Были погружены пленные и трофеи; тут же толпились с носилками раненых красноармейцев, пострадавших большей частью в штыковой атаке.

Дальше было совершенно ясно, что неприятель, получив известие от летчика о катастрофе в тылу, постарается или сняться совершенно, или послать в станицу сильную часть, которая могла бы управиться с красным десантом.

Неприятель выбрал первое: снял с позиции свои части и от Ново-Николаевской (а затем и других пунктов) тронулся на Ново-Нижестеблиевскую, опасаясь быть окончательно отрезанным от моря. Здесь у него была единственная дорога на Ачуев, и он торопился по ней пройти, пока красный десант не закрепился здесь по-настоящему и еще не пополнен новыми, может быть плывущими сзади, частями.

Фронт неприятельский в это время находился по линии станиц: Чортолова, Старо-Джирелеевская, Ново-Николаевская, Пискуново, Башты, Степной и Чурово.

Уже дрогнула неприятельская позиция, снялась она и быстро покатилась к морю. Неприятель попятился назад, а тем временем главные наши силы, стоявшие против неприятельских позиций, стали подгонять и колотить отступающего к морю врага. В станице, занятой красным десантом, бой не возобновлялся до тех пор, пока из Ново-Николаевской не подошли новые белые части.

Первыми из них пришли сводный Кубанский кавалерийский полк, Полтавский пехотный и Запорожский полки, неизвестная часть генерала Науменко и части кавалерийского корпуса генерала Бабиева, среди которых был и волчий дивизион Шкуро. Красному десанту было чрезвычайно трудно сдержать напор таких крупных сил; его задачей было теперь во что бы то ни стало продержаться до подхода главных своих сил, все время тревожить неприятеля, расстраивать его движение, беспокоить его частичными боевыми столкновениями и держать в напряжении. В полдень под напором превосходящих сил нам пришлось очистить две крайние улицы, идущие с востока на запад: по этим улицам пошли главные силы неприятеля. Снова завязался бой.

Неприятель ввел в работу два бронированных автомобиля. Но положение его было в общем весьма сложное: напирая на красный десант, он в то же время не мог сосредоточить на нем свое исключительное внимание и дать в станице основательный бой; этого не мог он сделать потому, что по пятам гнали и наседали на него главные наши силы, снявшиеся вслед за ним со своих позиций. Уже слышалась в отдалении, со стороны Ново-Николаевской артиллерийская стрельба; это были батареи красной бригады, торопившейся объединить свои действия с действиями красного десанта. Около четырех часов у станицы скопилось много вражеских сил. Видимо, там решено было покончить с красным десантом и сбросить его в Протоку. Неприятель открыл ураганный артиллерийский огонь и цепями пошел в наступление. Это активное и стремительное движение заставило нас попятиться к реке.

Вот красные бойцы оставили поляну, отошли за речку, а неприятель все идет и идет.

Было ясно, что при дальнейшем отступлении десант может погубить себя целиком.

Командир артиллерии Кульберг уже целых три часа не слезал с дуба. Он примостился там, подобно филину, на верхний сучок, приник потным лбом к сырому холодному стволу и все смотрел в бинокль, как падают наши снаряды. Батарея стояла тут же, в нескольких шагах, и Кульберг с дуба корректировал стрельбу, отдавая команду.

— Трубка сто, прицел девяносто пять... Трубка сто, прицел девяносто семь!..

И когда чудовище ухало, а снаряд с визгом и стоном вырывался из жерла, Кульберг покрякивал и рукой махал в ту сторону, куда он скрылся.

— Отлично, отлично,— кричал он сверху,— в самую глотку засмолило. А ну, еще такого же... Да живее, ребята, живее... Ишь, побежали! — И он взглядом, через бинокль, впился в окраину поляны, где взметнулись столбы пыли, а от них шарахнулись в разные стороны и побежали люди.

— Еще стаканчик! — продолжал он покрикивать сверху, когда артиллеристы спешно заряжали орудие: один подавал снаряд, другой его загонял в дуло, третий давал удар. Так в лихорадочной пальбе Кульберг забывал о времени, об усталости, забывал обо всем... И теперь, когда неприятель шел в наступление и подходил ближе и ближе к тому месту, где стояла наша батарея, Кульберг и не по-

думал тронуться, не шелохнулся, словно прирос к дубовому сучку.

Все резче, все порывистей его приказания, все чаще меняет он прицел, громче отдает команду... А возле орудий — запыхавшиеся, усталые артиллеристы; еще живее, чаще падают снаряды, бьют по идущему врагу...

На лугу, у выхода к Протоке, там, где сходятся две дороги, неподалеку от камышей были выстроены пулеметы, и пулеметчикам была дана задача — или погибнуть, или удержать наступающие цепи врага.

Пулеметные кони повернуты мордами к реке. На тачанках, за щитами, согнулись пулеметчики. Мы сзади их верхами удерживаем отступающие цели. Вижу Коцюбенко — он словно припаян к пулемету, уцепился за него обеими руками, шарит, проверяет дрожащими пальцами, все ли в порядке.

Неприятель на виду, он так же неудержимо продолжает двигаться вперед.

Ну, молодцы-пулеметчики, теперь на вас вся надежда: переживете — удержимся, а не сумеете остановить врага — первые сгибнете под вражьими штыками!

Как уже близко неприятельские цепи! Вот они прорвутся на луговину...

В это время, в незабвенные трагические минуты, когда десант держался на волоске, пулеметчики открыли невероятный, уничтожающий огонь.

Минута... две...

Еще движутся по инерции цепи, но уже дрогнули они, потом остановились, залегли... И лишь только подымались — их встречал тот же невероятный огонь...

Это были переломные минуты — не минуты, а мгновенья. Красные цепи остановились, подбодрились и сами пошли в наступление. Неожиданный оборот дела сбил неприятеля с толку, и белые цепи начали отступать. Положение было восстановлено.

В это время над местом, где находились неприятельские войска, показались барашки разрывающейся шрапнели. Нельзя описать той радости, которая охватила бойцов и командиров, увидевших эти белые барашки от огня своей красной бригады: это свои шли на подмогу, они уже совсем недалеко, они не дадут погибнуть нашему десанту...

Ободренные и радостные, красноармейцы снова начали тревожить проходящие неприятельские войска.

Так продолжалось до самой ночи, до темноты. Пыта-

лись было связаться с подходившей красной бригадой, но попытки оказались неудачными: между десантом и подходившими красными частями были густые неприятельские массы. Плавни и лиманы не позволяли соединиться обходным путем.

Неприятель на ночь решил задержаться в станице, дабы дать возможность дальше к морю отойти своим бесконечным обозам.

Красный десант решил произвести ночную атаку.

За церковью, неподалеку от станичной площади, в густом саду Чобот спрятал в засаду свой эскадрон. Ему опять предстояло дело в новой обстановке, в глухую полночь. Бойцы расположились в траве, лежали молча.

Кони были привязаны посреди сада к стволам черемушника и яблонь. На крайних деревьях, у изгородей — всюду попрятались в ветвях наблюдатели. Чобот ходил по саду из конца в конец, молча посматривал на лежащих бойцов, на коней; проверял сидевших на сучьях дозорных.

Над ручейками и дальше по аллее залегли наши батальоны. Все были уже оповещены о готовящейся ночной атаке. Мы с Ковтюхом лежали под стогом сена, позвали к себе командиров, устроили маленькое совещание. В это время с парохода притащили большой чугун с похлебкой,— поднялись, уселись кружком, как голодные волки, накинулись на еду — с самого утра во рту не было «маковой росинки». Бойцы, стоявшие возле стога, подвигались ближе и ближе — похлебка брала свое и притягивала, словно магнит. Только вот беда — ложек нет: двух паршивеньких, обглоданных на всех не хватало. Но и тут умудрились: кто ножом, кто деревянной, только что остроганной, лопаткой заплескивал из котла прямо в рот. Скоро весь котелок опорожнили вчистую. Закурили. Повеселели. Приободрились.

Ровно в полночь решено было произвести атаку, а эскадрону, спрятанному в саду, поручалось в нужную минуту выскочить из засады и довершить налетом панику в неприятельских рядах.

Отрядили храбрецов, поручили им проползти в глубь станицы и в двенадцать часов поджечь пяток халуп, а для большего эффекта, лишь займется пожар, кидать бомбы.

С первыми же огнями должны разом ударить все орудия, заработать все пулеметы, а стрелки, дав по нескольку залпов, должны громко кричать «ура», но в бой не вступать, пока не выяснится состояние противника.

Наступили мертвые минуты ожидания. Кругом тишина — и у нас тишина, и у неприятеля. В такую темную ночь трудно было ожидать атаки. Люди, казалось, ходили на цыпочках.

Разговаривали шепотом. Все ждали.

Вот задрожали первые огни, взвились из станицы красные вестники, разом занялось несколько халуп...

В то же время до слуха красных бойцов донеслись глухие разрывы — это наши поджигатели метали бомбы. Что получилось через мгновение — не запечатлеть словами. Ухнули разом батареи, пулеметы, заговорили, заторопились, залпы срывались один за другим.

Какое-то ледяное безумное «ура» вонзилось в черную ночь и сверлило ее безжалостно. «Ура!.. ура!..» — катилась на станицу страшная угроза. Неприятель не выдержал, побросал насиженные места и кинулся бежать. В эту минуту из засады вылетел спрятанный там кавалерийский эскадрон и довершил картину. При зареве горящих халуп эти скачущие всадники с обнаженными шашками, эти очумелые, заметавшиеся люди казались привидениями. Неприятель сопротивлялся беспорядочно, неорганизованно: открывал пальбу, но не видал своего врага, пытался задержаться, но не знал, где свои силы, как и куда их собрать. Недолго продолжалась уличная схватка. Станица снова была полностью очищена. Неприятель за окраиной распылился по плавням и камышам; только наутро собрался с оставшимися силами, но к станице больше уже не подступал, а направился к морю.

Еще ночью, тотчас после боя, в станицу вошли наши заставы, но весь десант вошел туда лишь на заре. Снова была пальба из огородов и садов, снова недружелюбно встречали станичники красных пришельцев...

Когда рассвело, стали собирать и отправлять на баржи новые трофеи: бронированный автомобиль, легковые генеральские машины, пулеметы, траншейные орудия, снаряды, винтовки, патроны...

К этому времени со стороны Николаевской вошла в станицу красная бригада,— ей и была передана задача дальнейшего преследования убегающего противника. Десант свою задачу окончил.

Весело, с песнями грузились красноармейцы на баржи, чтобы плыть обратно.

Каждый понимал, какое сделано большое и нужное де-

ло. Каждый все еще жил остатками глубоко драматических переживаний...

Суда отчалили от берега... Громкие песни разбудили тишину лиманов и камышей. Мимо этих вот мест только вчера, на заре, в глубоком сивом тумане, в гробовом молчании плыли суда с красными бойцами... Еще никто не знал тогда, как обернется рискованная операция, никто не знал, что ждет его на берегу...

Теперь, плывя обратно, бойцы недосчитывались в своих рядах нескольких десятков лучших товарищей.

На верхней палубе «Благодетеля», на койке, лежит с раздробленной рукой бледнолицый Танчук и тихо-тихо стонет. В просторной братской могиле, у самых камышей, покоится вечным сном железный командир Леонтий Щеткин.

Когда вспоминали павших товарищей, умолкали все, словно тяжелая дума убивала живое слово. А потом, когда миновало и молчание,— снова смех, пение, снова веселая радость, будто и не было ничего в эти минувшие дни и ночи.

1921

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Андреевич Фурманов

В ВОСЕМНАДЦАТОМ ГОДУ

КРАСНЫЙ ДЕСАНТ

Повести

Редактор *О. Голева*
Художник *С. Соколов*
Художественный редактор *Г. Саленков*
Технический редактор *Л. Демьянова*
Корректоры *В. Дробышева, А. Володина*

ИБ № 4754
Сдано в набор 9.12.86 г. Подписано к печати 5.02.87 г. Формат 84x108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2 кн.-журн. Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.-отт. 5,46. Уч.-изд. л. 5,23. Тираж 500 000 экз. Заказ 337. Цена 45 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

Фурманов Д. А.

Ф95 В восемнадцатом году. Красный десант: Повести.— М.: Современник, 1987.— 93 с.

В книгу вошли произведения, посвященные эпохе гражданской войны.

Повесть «В восемнадцатом году» рассказывает о подпольной работе большевиков на Кубани, о зверствах белого генерала Покровского, о боях за Краснодар в феврале — марте 1918 года.

В основу повести «Красный десант» лег подлинный эпизод гражданской войны — операция по разгрому врангелевского десанта на Кубани в августе — сентябре 1920 года.

Ф $\frac{4702010200-101}{М106(03)-87}$ 157—87

ББК84Р7
Р2